Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

Правила пользования
Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

О программе
Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу `http://books.google.com`.

UC-NRLF
$B 600 765

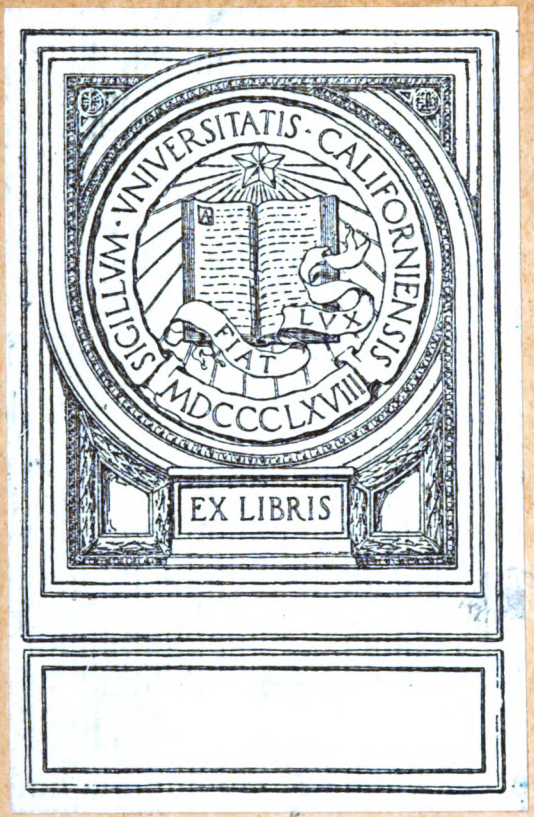
ГИ-ЛИОТЕКА СОВРЕМЕННИКОВ

И. ЭРЕНБУРГ

ЖИЗНЬ и ГИБЕЛЬ НИКОЛАЯ КУ[illegible]БОВА

„НОВАЯ МОСКВА"
1 9 2 3

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННИКОВ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ЖИЗНЬ и ГИБЕЛЬ НИКОЛАЯ КУРБОВА

РОМАН

НОВАЯ МОСКВА
1923

Digitized by Google

PRESERVATION
COPY ADDED
ORIGINAL TO BE
RETAINED

OCT 06 1994

ОТПЕЧАТАНО в 3-й типографии „Мосполиграфа", Малая Грузинская ул., Охотничий п. д. 5/7, в количестве 10.000 экз. Марка Издательства и обложка работы Н. Н. Вышеславцева. Москва. Главлит № 5372.

7317

Digitized by Google

$$x^2 + px + q = 0$$

$$x = \frac{-p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

„Цыплёнки тоже хочут жить".

Современная песня.

Х6347
.74
1923
МАИ

ЖИЗНЬ и ГИБЕЛЬ НИКОЛАЯ КУРБОВА

607347

Digitized by Google

Digitized by Google

1.

Воздвиженка. Казенный дом, с колонками, рыжий, дом, как дом. Только не пешком—автомобили; не входят—влетают, и все с портфелями. Огромный околодок: кроме нашего Ресефесера, еще с десяток республик—аджарских, бухарских, всяких. А вывеска простенькая – как будто дантист—заржавела жестянка:

„Ц.К.Р.К.П.“

Вот где ее гнездо! Отсюда выходят, ползут в Сухум и в Мурманск. Скрутили, спаяли, в ячейки яички свои положив, расплодились, проникли до самых кишек, попробуй—вздохни, шевельнись не по этим святым директивам!..

Стучат машинки: цок, цок, цок!

— Товарищ, заготовьте бумаги в Цус, в Цос, и прямо в Снабарм!

Резолюция при двух воздержавшихся.

— На подпись инструкцию.

— Занести в исходящие.

А в под'езде бабка плачет:

— Да как же? Куда же? Угла лишили... вселили... охальник машинку принес, прямо в ухо пущает!..

Злится курьер:

— Иди в жилищно-земельный, знаешь кто здесь?—Цека!

— Я и туды и сюды...

Дверь прикрыл—мороз напускает. Не скажет.

— В Тамбовском уезде убиты четыре товарища.

— Губком доносит, что все расстреляны.

— Тезисы по борьбе с церковью...

— Детская смертность в немкоммуне.

Digitized by Google

— Цифры?
— Умер от тифа товарищ Зыков..
— Послать другого.
— Куда?
И надо всем—одно слово, тяжелое, темное слово:
— „Мандат!"

Орг-бюро. Распределенье работы. Толпятся с портфелями, обросшие, обмотанные. Ведь когда-то ходили в пивные, заедали моченым горохом и воблой, читали альманахи „Шиповника", даже влюблялись, охали, а теперь нельзя—ну как на своей кровати перевернуться с боку на бок?—„инструкция"...

— В Наркомпрос двое, в Рабкрин трое. Вы, товарищ Блюм,—в Туркестан.

Целый час уже распределяют, отсылают, машинистки стучат. Мандаты. Стемнело, пыльная лампочка, махорочный дух, чайная чашка с отломанной ручкой, даже уют, семейственность, после мороза. Всюду послали, только осталось в чеку, трудное дело. Кому же охота?.. Все норовят на чистое, даже душевное, с романтическим блеском, при магнии. Всякому лестно сидеть в иноделе, и Англию с Тибетских вершин поддразнивать красненьким флажком. Или—раньше ребят, за конспектами сидя, как-то вообще не замечали—теперь педагоги. В чеку же идут лишь коммунисты последнего выпуска: нос угреватый в бобровый уют окунуть, или на „Кисловке" пирожное „Наполеон" с кремом давить языком, косых не считая. А нужно в чеку большого, святого почти; хотят к палачеству приставить не палача, подвижника, туда, где сети с уловом—доллары, караты, где кровь окисшая, со сгустками, где можно души с вывертом щипать, где всякий рыженький сопляк в каскетке—Ассаргадон, не человека—пункт программы, но с руками, с глухим баском—подписывать и утверждать.

— Товарищ Ялич, вы в чека, по предписанию оргбюро.

— Я? Нет! Что вы! (Ялич даже кашлять стал в башлык от раздражения).

Конечно, он понимает: чека—вещь необходимая, без чеки дня не проживешь. Но он—Ялич, написавший две брошюры о марксистской этике, хороший, честный, которого даже кадет Громов уважает,—к насосу мразь высасывать? Никогда!

Digitized by Google

— Я товарищ постановление опротестовываю. Хочу в Наркомпрод.

Секретарь уязвлен, возмущен, тычет своим самопишущим пером (подарок из Ревеля) в чернильницу, зря тычет, портит перо.

— Кто же в чека?

Потягивается огромный спрут, в тесной комнатке, с недопитой чашкой чая, потягивается и выпускает еще одну лапу, быструю, легкую, крепкую.

— Кто?..

И спокойный ответ:

— Если нужно—я. Меня отозвали из Наркомзема, там дело налажено.

Слегка удивились—товарищ Курбов: таких ведь мало—и в чеку! Потом: ну да, в чеку, туда первых, верных, без пирожков.

Прекрасен Курбов, покойной, ясной красотой! Движенья все верны, вески, слова расчитаны, глаза—чтобы видеть, ноги—чтобы ходить, и даже руки, крепкие, тугие, чтобы всё делать: доклад писать, пилить дрова в общежитьи, к брюкам пуговку пришить. Конечно, Курбова, и как раньше не догадались!..

Опять тупится заграничное перо секретаря. Товарища Зимштейна в Наркомпрос. „Единая“ и прочее. Дункан немного в переменках. Но главное—чтобы были инженеры. С младенчества их по производственной учесть и обстрогать. А Ялича?.. ну, Ялича... он книжки написал... он жаловаться будет... ну, Ялича—пишите: в Наркомпрод. Одна обуза. И Ялич рад: капуста, заготовка, сам Громов скажет: все большевики канальи, а этот Ялич честный человек, нельзя же без продовольствия?... Пишите: Курбова в чека.

Ялич с жалостью, чуть чуть брезгливо жмет руку Курбова. Да, да! Он понимает, меньшевики пакостят, надо быть на чеку, надо, надо в чеку. Курбов хороший работник. Ялич давно писал в своей книжке об этике: „увы, порой необходимо насилье“.

(А в душе, глубоко,—этика, дом, детки в матросках, дома совсем как Громов, уют, чистота. В чека—подвал, допросы, неприятно, марко. А в Продкоме—карточки чистенькие, карточек хватит на всех).

Digitized by Google

—Бедный Курбов!

А он не бедный—крепкий и живой.

Секретарь:

— Желаю вам успеха. Вы куда? Туда?

— Туда.

И машинистке через пустые коридоры в затон остывшего пустого зала:

— Мандат!

2.

Хорошо, что Курбов нашелся. А если бы не было Курбова? Могло легко и не быть. Весь Курбов случайность. Пошел он от карты—на два очка Валентин Александрович Лидов перекупил. Мелок на зеленом к прежним цифрам три жирных тяжелых ноля добавил. Здесь начинается Курбов: в надымленном клубе, над зеленью столика, в руке, что тычется от груды окурков к дулу в заднем брючном кармане, и снова к колоде—поддеть, передернуть, спастись.

Валентин Александрович Лидов—отец Курбова, не отец но вроде. Отец другой—Завалишин. А Курбова—просто и не было. Только Маша Курбова в Еропкинском переулке, мастерица гофрированных роз. Хоть было не двое, трое—Курбов мог не родиться, не должен был он родиться. Карта толкнула—восьмерка: Валентин Александрович перекупил.

Был Лидов—прелестник, не ногти—рубины. А имя! В Москве, в Еропкинском, где всё Еремеи, Фаддеи, Сергеи—Валентина найти. Клубмэн, гладко выбрит, широкий костюм, с искрой—от Шанкса.

Презрительно вежлив к Маше:

— Ценю я свободу...

И Маша, молясь на складку у губ, на брючную складку, стыдливо:

— Вы истинный ангел!

Повсюду успех: не одни мастерицы: графини, актрисы, супруга посла Португалии, идейные и недотроги—все! Только записывать дни и часы. Всем нежно:

— Любовь—мещанство, из книжки плохой... как называется?... ах, да,—евангелие! Прочтите Ницше и торопитесь! Главное, как в Англии—свобода...

Digitized by Google

Так и когда студентом был. Беспорядки. Манеж. В Таганке ни Нелли, ни Шелли. Даже нельзя пройтись по Волхонке в героической позе. Скучно. Искушал его ротмистр: весна на Никитской, из палисадников сиренью треплет по сердцу (ротмистр в мундире своем как весна—голубой и туманный):

— Назовите имена—и всё обойдется.

Назвал. Обошлось. (Ну, что имена, когда вместо параши,—все утро с Нелли—искать пятизначное счастье, сначала на ветке, потом на груди?)

Был женат, конечно, не на матери Курбова, на Нюрочке Критской. Дом получил, но место плохое—на Самотеке. Так и сказали: дом не доходный, должно обставленный, и всё—вплоть до массивного закусочного (ведерко икорное, кнопки для сыра), вплоть до лифчиков Нюры (фабричные, под Валансьен, из Пассажа),—по списку. (Бывают измены и принципам Ницше). Валентин Александрович был в затруднительном, маклер Ишевич дом оценил в двадцать тысяч. И Нюра—свежа, пухла, глупа, приятно девчонку учить всяким фигурам. Папаша—Нюре:

— Овца! Морду от мужа воротишь, а у самой небось коленки млеют. Вот погоди—научит.

Учил. Научил. Потом продал дом. Кнопки для сыра и те заложил. Ушел, небрежно поддернув плечами:

— Брак—это рабство. Зачем друг за друга цепляться?

(Нюре остались лишь лифчики под Валансьен).

Другие—от часовых до сезонных. Когда же встретил Машу, был верен идеям, но сильно поношен. Тридцать восемь всего, а ко многому больше не годен. Возможно—наследственность, или шампанское „Мумма“ (ведь дом Самотечный истек не минутной струей „трипльсэк“—многолетним ключем). Но, словом, ни души, ни патентованные капли не помогали.

Маша знала весну с подоконника, бумажные розы и чужое счастье—двоих у окошка напротив, оперу „Травиату“ (у Солодовникова) и еще, самое главное, что когда-нибудь может быть *это*.

Увидав Валентина Александровича—оправила передник, сказала глупость (погода и моды), прокляла розы и подо-

Digitized by Google

конник („ведь он—образованный!"). Потом послушно, как заказчице вздорные розы, отдала ему—жизнь.

Он взять не мог, слишком много брал, об'евшись истек, но все-же не хотел успокоиться, ерзал и, тешась, о духовном родстве лопотал, туманно—совсем Метерлинк.

А Маша смущалась—он тискал слабея, хихикал, потом щурясь перед зеркалом и брюки свои натянув, осторожно, чтобы не смять складок, шел в „Английский Клуб".

Закутавшись в клетчатый теплый платок лежала; все это не то! не то! И компрессом жег щеку замокший от слез платок.

Сказал ей.

— Ты останешься девушкой—это гораздо изящней. Взять все до конца—какая пошлость! Я так уважаю твое девичество.

И тихо хихикнув, прижал.

— Я так уважаю...

И розы в трюмо, бумажные грязные розы шуршали:

— Конечно! как в Англии...

Неделями Маша ожидала двойного звонка. Завивала папиросную бумагу, думала: „я его недостойна, он рыцарь". И марала слезами линючие тусклые розы. Потом приходил, подвешивал брюки, хихикал, и снова руки шарили, и звал к далекому Ницше, и никем не отпитая женская нежность, переполняла каморку, Еропкинский, мир.

А он об'яснял приятелю, секретарю газеты „Курьер".

— Простенькая, но не говорите...

Шли вместе к „Омону". Секретарь ворчал:

— Я ученых люблю. Чтобы все номера из Парижа. Довольно родной самобытности!..

Валентин Александрович соглашался, но все-таки скромно добавлял:

— В простоте—своя прелесть.

И выходя на Садовую, где гнилые листья пахли гарью, не зная, что делать с собой, чуя уже старость и легкий сгиб в пояснице, садясь в пролетку с верхом, чтобы не видеть, не слышать—кричал:

— В Еропкинский.

Так Курбова могло не быть. Не должно было быть. Ужасно! Что делал бы секретарь Цека? Не Ялича же, чи-

Digitized by Google

стольку такую, гнать на работу в чеку! Но выручил случай—восьмерка. В „Английском Клубе„ играл Валентин Александрович Лидов с Завалишиным (крупный подрядчик) в „железку", играл—заигрался... Условье: на месте расчет. Проигрался изрядно—одно спасенье: сорвать Завалишинский банк.

— Беру! Прикупаю!

Восьмерка!

Завалишин мелком поскрипел. И голос у него скрипучий, несмазанный голос. Завалишин отводит, Завалишин не шутит:

— Милейший!..

Ведь будет скандал, старшины, исключенье.

— Закусить не хотите?..

Вместе за столиком. Вдруг Лидова осенила дивная мысль. (Бывает: Ньютона в саду, Буонапарте в крестьянской избе). Взглянув на засохшие толстые губы счастливчика, Лидов вдруг вспомнил: есть Маша, а это ведь стоит нолей на зеленом сукне.

— Заплатить не могу... впрочем, хотите девочку?...

Подрядчик презрительно скрипнул:

— Считать не умеете, вот что! Да на Тверском любая за красненькую... Благодарствую—сам найду.

Но Валентин Александрович умеет считать.

— Вы меня не поняли. Я вам не девку—честную девушку предлагаю.

И пальцем вкусно причмокнул:

— Оказия! Свеженькая!

Завалишин взглянул недоверчиво—его не надуешь!—откуда такая?—сам Лидов известный бабник—конечно, подвох! Не поверил, но все-же взволновался.

Человек, изогнувшись, шептал:

— Прикажите антрекотик?

Не верил:

— Извольте платить!

— Парфе а ля Франс!

А где-то под ложечкой ныло:

„Свеженькая!"

Валентин Александрович пил и юлил, и молился над застывшей сальной тарелкой: „дай Боже, дай Боже, чтоб

Digitized by Google

ему захотелось того!". И выпив изрядную дозу мадеры:

— Поверьте! Услуга—другу. Невинность! Я знаю, что вы далеки от искусства—но вы ведь слыхали: Мадонна! Экстаз! Беатриче!

Завалишин не выдержал:

— Врете! Неужто такая?..

— Ей-богу!

И дрогнул:

— Но как же вы прозевали?...

Как было? Выпил ли Лидов не в меру мадеры или очень боялся скандала, старшин, исключенья, хотел убедить, увести, ноли зачеркнуть? Нет, просто—попало в точку.

— Я?... видите ли...—я неспособен.

От попранной гордости, от мужской обиды, от всей своей уже трехлетней муки, перед подрядчиком, перед лакеями, на манишку смятую за ночь—заплакал, громко, по-детски, сморкнулся, вышел. И долго в уборной, у кафельной стенки всхлипывал, как мальчишка, строго наказанный, забытый, ненужный.

Вошел Завалишин:

— Согласен. Едем.

Подрядчик торопился, не мог попасть в рукава енотовой шубы—извинялся швейцар. Лихачу:

— Живее!

Двойной звонок. Маша проснулась, кинулась к двери. Вот точно ей снилось: Царицыно, лодка, и милый веслом подгребает упавший платок.

— Мой друг Завалишин.

— Ах, я не одета!...

Завалишин усмехнулся:

— Оно и лучше: меньше будет работы.

Валентин Александрович суетился: А вдруг Маша не согласится, отрежет, откажет?—тогда.. тогда.., и вставало одно: тогда скандал.

— Машенька, я хочу поговорить с тобой.

В соседней комнатке:

— Видишь ли—я проигрался. Азарт—великое чувство. В нем красота порыва. Восьмерка вышла—перекупил. Завалишину должен. Одно осталось.

Digitized by Google

И вынул браунинг.

— Валенька, что вы?.. Господь с вами!

(Видит, уж видит страшную рану).

— Ты можешь помочь мне. Я чист, я невинен, я даже таких слов не знаю. Но вот Завалишин—весьма ординэр. Как жаль, что ты не понимаешь по французски—язык Мопассана. Словом, ты с ним должна остаться вдвоем и кое на что согласиться. Что тебе? Как говорит мой приятель, философ большой, Ксюнин—ничего не убавится. Красота останется. Мы будем снова невинны, как дети...

У Маши все завертелось—розовые розы, шапка с ушами Завалишина, милые руки, вспорхнувшие мимо. Потом прояснилось, остались лишь руки.

— Валентин Александрович, если для вас—я могу.

Хотелось—еще одно слово „люблю“,—боялась—„любовь мещанство“, но все-же не сдержалась, руку его схватила (не ногти—рубины) и, преклонившись, ее поцеловала.

— Я вас не обязываю. Выше всего свобода. Но здесь поставлена на карту (проклятая карта—восьмерка!) моя свободная личность!

Довольно. Все обошлось хорошо. Завалишин дает расписку.

— Спокойной ночи. Я не стану стеснять вашей свободы.

Вышел. Остался Завалишин, скрипучий, сухой. Торопился, не знал ни Ницше, ни свободы. Навалился, схватил, закусил жадно, как виноградину раздавил. Ботиком топнув, ушел.

Мокрый платок: „не то! не то!“..

Валентин Александрович никогда не вернется. Что без девичества Маша?—глупенькая мастерица. У него гувернантка, деликатная, из Женевы.

Так кончилась ночь. Нет не конец, а начало.

В бурой каморке, под хрип и скрип, и досок скрип, и смех скрипучий, был мир еще: за домом—ветер, тучи, за тучами—высоко—звезды, и на кровати, от позора и от любви, от перекупленной восьмерки—начало человека—Николая Курбова.

Digitized by Google

3.

Валентин Александрович, действительно, к Маше больше не пришел. Хоть знал он, что вечер в клубе кончился карточным сыном—Колей.

Раз лишь, три года спустя, выиграв порядком, выйдя один на мороз—вспомнил: восьмерка, лихач, на пальцах горячие губы. Вернулся. Вложил сторублевку в конверт, приписал:

„Духовному сыну на елку. Расти свободным, широким, терпимым".

Дал посыльному и долго за полночь собой любовался. Какую-то девушку помнит, не брезгует прошлым, без предрассудков, один, забытый всеми, как Рудин или бедный Лемм, никем непонят, джентельмэн—среди хамов.

Если бы эти сто рублей пришли раньше, когда Маша металась, молила бабку еще подождать, писала Лидову, ждала почтальона, и соску пустую воткнув в ротик, задыхалась от жалости!...

Потом?.. Всегда так выходит и все же чудно—как это вышло?.. Пришел не Лидов—Завалишин. За ним другие. Сначала фамилии, лица, потом ряды. Брюнеты. Блондины. Вот здесь бородавка. Еще—вчерашний рубашку разорвал. Еще—один как-то лязгал зубами. Огромный рой. Не человек, не люди—человечество.

А рядом в каморке, со щелкой во двор, где плакал шарманщик и мастер паял кастрюли, на сундуке под лоскутным одеялом, в куртке платанной спал беленький Коля.

Слышал вечером говор, сговор. Мамаша смеялась, брала гитару, и глухо, как будто в носу полип, (чтобы было чувствительней) пела.

— „Ах, звезды, вы, звезды мои"!...

Потом визжа прочь летела гитара. Шмыгали, прыгали, шаркали. Стоны. Мелкий смешок. Вздох. Рык. Тишина.

Спросил—мамаша всхлипнула, слезы взрыхлили щеки белые—как мятные пряники. (Маша распухла от сна до обеда, от трубочек с кремом—гостей угощала, и белая стала, белее нельзя). Увидел, как слезы размыли мучнистые щеки и понял—молчи.

Digitized by Google

Пожалуй, обвык стали вздохи и скоки за стенкой, как визги шарманки, как клеп мастера. Но маму жалел до озноба. От жадной жалости дрожал под лоскутным. Когда днем мамаша уходила в колбасную—чайной купить, он целовал на кровати ее пробитую ямку—след тела. Просыпаясь выглядывал, и гость иной, заметив ясные глазенки завязывая галстук, налету кидал:

— Он у тебя ангелочек!..

Бывали ночи похуже—посуду били. Мамаша молила—чашку с золотом вязи „откушай"—одну пощадить. Разбили. И хуже еще: не чашку—мамашу били.

Помнил Коля: как-то проснулся. Сердце забегало. Гитара. „Ах, звезды, вы, звезды"... Бац.

— Так-то ты, стерва!.. поёрзай на брюхе!..

И тихо. А в шторке рваной—звезды.

Слышал и знал. Но не был ни маленьким Байроном, ни тихой замухрышкой. Играл задорно в чехарду. Больше чехарды, больше бабок, больше нарядных игрушек в окне магазина „Сны Детства" любил он коробки от спичек, пустые катушки, пробки. Часами он строил—коробки и пробки росли, стояли, упасть не могли. Вот фабрика спичек, не фабрика—город, и просится ввысь каланча.

Маша от жизни несбывшейся (ах, Лидов уехал куда-то—наверное в Англию) кидалась в церковь, до смуглого Спаса. Там вместо гитары и армянских загадок—торжественный зык: „Иисусе Сладчайший"! Из кошелька выгребала полтинник—все наградные, за выверт, за фокус, за усердье многих ночей—и ставила свечку, не мудрствуя много—кому и за что, просто от бедного сердца, от кошелька, где каждый грош зубами прокушен.

Водила Колю в церковь. Не нравилось, порой упирался. Маша крестилась:

— Что ты—чертенок? В церковь боится итти! Только чорта от божьего духа мутит...

Как-то зашли—Василий Блаженный—закоулки, проходы, щели и норы. В темь, в глубь, а в углу, среди золота, большие пустые глаза. От чадных лампад, от ладана, от маминых сдвинутых к брюшку благообразных рук—скучно стало, так скучно!.. Только на площади ожил. Веселый клекот пролеток. Купчина поскользнулся, упал. Тяжелые го-

Digitized by Google

луби чуть отлетели. Снова сели. Купчина стряхнул с полы пух снежной перины.

— Маменька! маменька! как хорошо!..

Маша смущалась, даже просила отца Спиридона наставить. Жирной рукой шлепнулся прямо в губы:

— Читай „Отче наш".

Читал. Боялся. Не верил, но все же боялся—мать говорила:

— Слушай отца Спиридона, не то Господь покарает...

— Покарает? Чем?

— Ей-ей покарает,. чихом или глистой...

Отец Спиридон сам испытал всевышнюю кару. (За что неизвестно. Ведь Иов безгрешный и тот был наказан). Мужчина в соку, четвертый десяток, а вдов. Когда Маша говела, он ей важно сказал;

— Очистись!

И после сладко причмокнул (что же и в пост полагается постный сахар).

— В четверг приду! Чтобы не забрел кто греховный...

И вправду пришел. Коля в щелку глядел. Ни креста, ни рясы, ни трубного зыка. Бородой маму ласково щекотнул. Пошло как всегда. Но уходя (другие шуршали рублем или трешкой)—стал снова суровым, хотя без креста, но все же отец Спиридон. Только руку к губам не спеша подсунул. Мама припала. А Коля у двери на цыпочки встал, приподнялся и вырос. Сразу прозрел, и презрел и чих и глисту. Только ласково подумал о маме: ей ведь не скажешь—она будет плакать.

Маме на утро:

— Я, маменька, в церковь схожу—помолиться.

А сам пошел к приятелю Васе в печатню Качина. Вертелись гигантские свитки, вливая бумажные струи, зубья белесую реку вбирали, сжимали, клеймили, целуя взасос и снова кидали. Подобравши порченный лист, он прочитал:

„Мы ждем от Микадо уступок"...

Машина знакома с Микадо!

Маша гордилась. Из сил выбивалась—за ночь две смены пускала—но сын будет важный: Валентин Александрович, мечтатель, иностранные слова, не „ординэр"... Реалисту, что жил во дворе, на хлебах у молочника Тычина, три целко-

Digitized by Google

вых давала в месяц на девок, (натурой не хотела: мальчика хоть постыдись!..)

Тычин готовил к экзамену, честно готовил—и „гнёзда“ и „звезды“ и „цвёл“, „приобрёл“—все яти сказал, не утаил ни одной.

Коля буквы залпом глотал. Просыпаясь от шума—вот сейчас надо поставить двоеточье... Пятнадцать целковых не пропали—на экзаменах первый. Потом взмылясь, достала Маша Коле куртку и фуражку с гербом. Красивый герб! И вдруг отойдя от зеркальца—готовясь к гостям пудрила шею:

— Да ты ведь того... кавалер!..

Шли дни. В большой—суетня и визг, в маленькой рядом—наречья, союзы, предлоги.

Но к новой весне беда. Как-то пришел приказчик один, с Плющихи, в явно нетрезвом, Машу раздетую, всю запотевшую вытолкал на лестницу:

— Прогуляйся в прохладе!

Маша слегла. Всё внутри захрипело. Хочет дохнуть—нет сил. Банку бы поставить—нельзя; кошелек Коля вывернул даже, ища пятачка несгоревшего церковной свечой.

Коле:

— Сходи в Мансуровский к Прову, знаешь—колбасник; он добрый—даст, коли что—позови.

Пров пришел и озлился:

— Я думал за делом зовешь, оснастился, а ты, что же, дура, меня принять не способна?.. Тьфу! Разлеглась! Мадама какая!..

И кинув полтинник, да так, что еще под кровать завалился—еле Коля его подобрал,—ушел.

Так и не было банок, и даже бальзама не было—утишить кашель. Две ночи еще промаялась. Потом—один взлет от ямки, клок простыни в скрюченных пальцах,—и всё.

Когда выносили, дворник Трифон ругался:

— Окочурилась, плюха!

И на Колю:

— Еще наплодила! скажите—богатство!..

Впрочем, всё было пристойно. Отец Спиридон прогремел:

— „И презревши все прегрешения!..

От чувств набежавших и от кислого кваса сердито икнул.

Digitized by Google

Так закопали. Коля на конке (собрали четыре целковых) доехал домой.

Вошел и взроптал. Нелепости этой осмыслить не мог. Рои ночей, люди, муки, скупая щель в размокшей земле. Зачем же высокие башни катушек, державные лапы машины, чудные буквы в учебнике: ясная „А“ и свободное „О“? Зачем же морозное утро, нос заиндевевший, плещущий голубь? Зачем?—сиротела кроватная ямка—целует тюфяк, клок пакли, в полоску тряпье. И другая яма—сырость, червь, как глиста.

Гитара. Нечаянно тронул струну. Завизжала. Вспомнил—„Ах, звезды, вы, звезды мои“!..

Так-то!.. В окошко взглянул.

Вот Маша и Маши другие,—глядят, вздыхают: туманность их тянет, распирает простор, грусть—отчего не дано? А Коля взглянул и увидел: система, гармония. Да были-то числа, таблицы, не сны—чертежи. И в круге и в ромбе оправдано всё: койка, комья московской тяжелой земли.

Здесь истоки жизни, в каморке неприбранной—у запотевшего от весеннего духа стекла. А после одно продолженье, одни хвосты этих явившихся чисел. Мечты и конспекты, и дальше—программы, учет, строй совхозов или комкомов—лишь позднейший отсвет вот этих на час прояснившихся ромбов.

Он понял и прошлое ласково прочь отстранил. Спокойно выпил из чайника старый, еще для мамаши заваренный, чай.

Утром был маленьким мальчиком Колей. Теперь—Николай Курбов.

4.

В гимназии Курбова очень ценили. Педель—Аполлон Афанасьевич шепелявил:

— Не ученик—самородок.

Правда, шалит, порою несносен осенью, например, калоши отца Михаила прибил гвоздями. Вдевал отец Михаил, вдевал, чрезмерно напрягался, а после усомнился в себе, стал воздыхать. Весь класс наказали, но Курбов признался. Шесть воскресений за это латинские „бестия“ и „фруктусы“

Digitized by Google

честно склонял. Но это-то что!—Педель добрый, сердечный, сам понимает—без шалости разве сыщешь ребенка?—возраст такой. А все-таки Курбов особенный, прямо классический отрок. Хоть беден, весь латан, не может на плюшку взглянуть без волнения, а все же в предметах первейший. Министр приезжал,—кого вызывали? Конечно, его! Задачу как схватит, чиркнет мозгами—готово. Ей-ей! В двенадцать лет—математик!

Узнав о смерти матушки Курбова, Аполлон Афанасьевич в учительской даже чаю не допил—взметнулся. Егорьев историк—председатель „Общества Помощи", —к нему.

— Сами Курбова знаете. Он, так сказать, украшение.

Егорьев вначале чуть покобенился:

— Курбов Николай? Во втором параллельном? Как же, знаю, знаю: он баламут. Я с ними начал удельный период в доступных рассказах—Святополк Окаянный, ослепление Василька. И что же? Курбов выпятил руку:

— Иван Ферапонтович, а как эти дяди промышляли себе оружье?

Так и сказал—не князья и не люди, а „дяди". После опять:

— А как они строили Киев? Были ли с трубами печи? Разводили ли кур? А то вы все про одних мазуриков!...

Слова-то какие! Вот из таких и выходят (в ухо педелю дунул) те-рро-ристы! „Что?" да „как?" дурак!

Но вскоре смягчился и обнадежил педеля:

— Есть заявление. Власов кожевник—сын у него второгодник, в четвертом застрял. Так вот этот Власов сказал мне: „если болван в пятый пролезет—возьму на иждивение бедного мальчика. Буду выплачивать правоучение и осьмнадцать рублей на харчи".

Сделано дело. Власов Никита, слизнув задачу у соседа, пролез. Курбов устроен. Добренький педель пошел в Еропкинский сам:

— Учись и ручку целуй благодетелю. А гвозди оставь. И про Святополка вызубри, чтоб на зубок. Ты теперь не просто гимназист, а в некотором роде (палец к небу, по слогам) сти-пен-диат!

Власов увидев гаркнул:

— Вот ты какой! Потаскухин фрукт! Отвечай—чьи на

Digitized by Google

тебе брюки? мои! По моему милосердью. Смотри на коленках не протри—ремнем! Учись, пуще всего покорствуй. Кончишь учебу, будешь честный, непьющий—возьму тебя младшим приказчиком. И руку—(рука склизкая, мясистая)—целуй.

Целовал.

Так каждый месяц. Очки нацепив—в балльную книжку: чтобы были пятерки. Раз отчеркнул Егорьев солидный кол—сказал Николай:

„Эпиктет, Эпикур—все одна семейка: обоим, небось, рабыни сподники, то-есть тоги ихние стирали".

Власов кол жирнущий носом вдохнул и сладко погладил живот:

— Эй, Дунька, зови Никиту!

А Николаю:

— Пащенок, ложись на скамью.

Очень хотелось Власову сына тупицу всласть постегать—жена не давала. Только он за ремень—„ах!" на диванчик, отпаивать надо. Хоть на этом щенке отведет замлевшую руку.

Никите тоже не вредно—взглянуть:

— Вот так и тебя подобает!

Сложил ремешок и пошел. Считал с замедлением, до двадцати насчитал, устал. Никита—истый теленок, глаза из оптической лавки,—стоит и в рукав гогочет: „гы-гы". А сам Николай не пикнул. Обрядно причмокнув запотевшую руку, взял восемнадцать рублей и ушел.

Не было злобы—только недоумение. Пожалуй, жалость. Какая должна быть крысиная скука, чтобы в мире, где числа, где башни, где каждой гайки трамвая обдуман гуд и пролет, чтобы в мире где грозы, над грозами звезды, чтобы в мире, в огромном мире,—сидеть на Полянке, за ватою окон, в квартире густо надышанной, с фикусом, с пуфом, с пудовым золотом риз, с толстым теленком Никитой, и часами пыльной душой оседать на фикус и на пуф, сладко, как будто желудком, мечтая: „эх, хоть кого-нибудь выпороть!.."

Так Николай судил. Не ненависть к аду его подмывала, но четкий продуманный рай. Он лестницу быта—чванливых,—не люди, а сало в жилете, подвижников в ризах высокой пробы, философов постных и все оправданья, от послеобе-

Digitized by Google

денных „что же есть истина?“ до пьяной отрыжки мордобойного околодочного—не мог ненавидеть, только жалел. Знал—скоро окрепнут руки—он выплеснет стылый и сальный навар, пойдет на работу—корчевать жизнь. Какая здесь злоба—просто гнилушки, расти мешают. Москва—один беспорядок, придется ломать, хотя ломать он не любит, придется— нужен для стройки пустырь.

Читал он как прежде—том в присест, буквы сменили суровые мысли, чем чище, голее, тем ему ближе. От мысли ждал мысли, от солнца—теплыни, от жесткой подушки—сна. Читатель Спинозы любил биллиардное поле, любил беззлобно громыхать, любил на катке лихие спирали „Снегурочкой“ очертить свистя. Был прост он, как идол—едва обтесали: вот шея, вот ноги, вот пуп, и нет ни ресниц, ни морщинок, ни междудольных чувств, ни грохотных росчерков грез.

Прочитав „Идиота“, долго смеялся, как будто смешной анекдот. Есть мука от жизни, ее ведь он знает, но мука для муки—чудят чудаки!

Иные слова его веселили—„святыня“, „творец“, „вдохновение“; он, повторяя их, долго, по-детски смеялся. А после бежал к микроскопу и жадно взирал на миры. Под глазом как будто двери трещали. В каждой бактерии—знак бесконечности—билась восьмерка. Или с готовальней. Чертил. Число обличалось, росло. Теоремы ясностью жгли детские щеки, и был он не гностик, не кабалист—влюбленный.

Другие вздыхают— „Прекрасная Дама“—туманы, и где-то в легчайшем эфире трепещет вырез нечаянный шеи. Была ему дамой машина, и нежно шептал он „динамо“...

Любил вечерами читать Пушкина, завывая и качаясь. Раскрывал наугад—все равно где начало и где конец. Образы—мимо—не их он любил. Мимо—слова: ну „Парни“ или „гранит“, „ножки“ или „площадь“, одно он любил—как шествует время, как мчится копытчатый ритм. Из слова в слово, не падет, не изменится, и слово—камень, и слово цемент и четыре угла текучей пирамиды.

Потом жевал сухой бублик и просыпаясь утром, пугая хозяйку вопил „О! О!“ от солнца, от зайчика на стенке, то своих пятнадцати лет.

Digitized by Google

Вот и шестнадцать. Потянулся. Силу почуял. Теперь не страшно. Больше не будет мокрой ручищи Власова!

Егорьев ворчун—для проформы слегка поворчал:

— „История—свиток. Героизм, программа округа. Необходимо придерживаться!..

Но мигом устроил. Николай—репетитор. Обойная фабрика Глубокова. И сразу (куцая куртка, на локтях—треугольники) едва вошел, пряча красные пальцы за спину, глаза кольнули бра и брызги бриллиантов с атласных животов, дух захватило от душных духов, а кругом, а в нем—на хрусталиках люстры, в неподвижных и тусклых зрачках, по жердочке прыгало чье-то сопрано. Вновь рокот. Хозяйка (глаза фламандской коровы, будто жует сверхурочную жвачку) влача горделиво свой шуршащий хвост, Николаю сердечно кивнула коровьими глазами (шеей короткой без крайней нужды она не любила двигать).

— Ах, вы воспитатель Бори? Он не мальчик, а чудо. Надо только понять его душу!...

И муж по дороге к закуске:

— Очень приятно. Я сам не чужд.... идеи Песталоцци. Монтессори. А в общем я враг систем...

Соседу:

— Колоратура-то какая.... Милости прошу!... Депре доставил мне—оказия „Шато де Руа“

Вот молодежь—Глубоковы: дочь—поэтесса, не Мария—Мариетта, сын—студент Олег, философы, художники, писатели и просто кудреватые, мечтательные снобы, живущие среди верниссажей, рифм, только что открытых религий, цыганок из Тамбова, и купчих, наклонных к сатанинским мессам, (как у Гюисманса).

Мариетта прекрасна,—высокий лоб, очень точный овал и на тонкой с просинью шее детская нитка жемчужин. Поклонники часто спорили—один говорил: „нечто византийское, напоминает Равенну“, другой „камея Ренессанса“, третий „Этрусская ваза“, и много еще раскопок, стилей, стильных суждений—поклонников много. Сейчас она в профиль, закинув головку (с Глазовым—в профиль, Глазов сказал про этрусскую вазу) читает сонет Малдармэ. Послушайте „н“—носовое, и в „ннн“, как в туманах, прореет случайно понятное слово: „безмолвие“, „лилия“, „лебедь“. А Глазов взвол-

Digitized by Google

нован, забивает слюной янтарный мундштук, и смотрит,—ну, правда, не профиль,—пониже, где скромно гаснет жемчужный закат, на тонкую шею, так разом и впился бы, куснул, чтобы знала, не ваза, не „ннн", а вот просто: он хочет. Но всё здесь пристойно, и он лишь в брючном кармане коробку спичек ломает от злобы. А Мариетта—расширив глаза и анфас (подошел скрипач Коловэн, автор „Равенны") читает уже пятый сонет, и лебедь, задевши лилию, может быть станет безмолвием.

Зато вокруг Олега крутит пурга. Сам он—порыв, вздыблен волос неуемный хохол, шея поспешно раскрыта и живчик бьется, как добрый скакун. Другие за ним: вот сейчас поскачут, догонят и мир и Христа и последнюю истину. В нетерпении дрожат боевые космы, пальцы цепляясь хватают обрывки фраз, в блюдцы с вареньем снуют папиросы, и бас застилает:

— Про это еще писал Соловьев...

— Любовь, чистую любовь, любовь как таковую...

— Штейнер сказал...—Познание... тайна...

— Добро—категория...

— Добро par excellence...

— Бердяев выступил против...

— Буддизм...

— Нет, вы мне ответьте, в чем дух христианства?..

Но взмылясь до-нельзя—устали:

— Пойдемте к дамам!..

У каждого шейка одна на примете. Немного волненья, а ночью другие, без этих сонетов, без всех психологий, без драм и без мам.

Курбов всё прячет руки за куртку. Кто-то заметил:

— Кто это, Мариетта Дмитриевна?..

— Ах, это... не обращайте внимания... так репетитор...

Корова же из Фландрии, жвачку свою дожевав, всласть посплетничав: жена Королькова открыто взяла у Гольдштейна колье, а Домский доктор с женой не живет, ему стелят всегда в кабинете, откуда же ребенок?—и выяснив это, оброк отработав, внутренним светом вся озарилась—ангел, хоть немного массивный, но ангел. И взглядом лениво влачась по гудящему залу, в углу за пальмами в кадке наткнулась

Digitized by Google

на Курбова. Благость излила, приказала горничной—вафле, нежнейшей гофретке:

— Матильда, дайте тому... в углу... чаю и закуску, только попроще—кусочек селедки.

Курбов, отвесив дубовый поклон Матильде, чай выпил, селедку с'ел. Уж люстры глаз не кололи, привыкли глаза, и весь обтерпелся. Скучно только. В пальму уткнувшись, зевнул.

Прислушался к гудящему говору. Скучно!

Вдруг все замолкли, без говору, но сразу. Как будто в кинема испортилась машина, или тот, кто вертит ленточку, забастовал, окаменели ноги, близ люстры повисли вместе без ниточек Песталоцци и колье, добро и Маллармэ. Тут явственно почуял Курбов, что скучно, очень скучно было всем, что надо много сил, чтобы каждый вечер на журфиксах таскать меж чашек, арий из „Лакмэ", все эти фикции, субстанции, и холостой диван обманутого мужа. Почуял, понял, пожалел.

Кто-то первый стыдливо скрипнул стулом. Встал. И облегченные другие потянулись, погружаясь как в об'ятья в бобровые, енотовые, лисьи, тяжко зевая в мягкие воротники.

Курбову сказали, что жить он будет во флигеле направо от конторы, возле казарм. Желтый морозный туман. Ошибся дверью.

Рабочие в тулупах, матерно ругаясь, не по случаю, а просто: творчество, стихия—облили крысу керосином. Подожгли. Был ясен крысиный писк. Пламя тоже пикнуло, свистнуло, метнулось по промерзшим сеням, и надымив как факел, изошло. Еще слабея, изругнулись. Старикан вытащил из-под тулупа последний шкалик, ударил ладонью донышко и быстро выхлестнул в себя огонь. Потом всё смолкло. Скучно, очень скучно! Завтра праздник. На сегодня хватит.

Придя же в комнату безмерно длинную и узкую, похожую на корридор, Николай вытащил из узелка большую книгу. Сел, раскрыл: „работы Лобачевского"...

Читать не мог. Бежала огненная крыса в залу, всё горело смрадным удушающим огнем. Казалось, Мариетта пикнула а может даже пикнуть не успела.

Курбов встал, прошелся, усмехнулся:

— К чорту! Все переделать! Заново!

Digitized by Google

5.

Всех опознал Николай. Блюдя иерархии чин—сперва о папаше. Либерал, каких мало, не либерал—радикал. С приятелем, пятую закусывая балычком, ругался:

— Страна рабов! Кадеты трусы! Нет у нас Мирабо!

При этом даже жевал независимо. Письмо Толстого, такое, что прямо в Якутку, не убоялся вслух жене прочитать. Среди грязной Москвы, на фабрике, где портки и портянки, где в субботу парни, слизнув получку, ломают еще недоломанный нос плотника Глеба или сучек травят, где вместо неба—дым, зима, над дымом и зимою „мать“!—среди этакой Азии, он оставался европейцем, грызущим сигару над тридцатью страницами „Morning Post“. Он ногу на ногу клал, не просто—выявляя особенный смысл—свободу, однако, корректно. И ногу увидев, было легко его спутать с любым радикалом, с Комбом или с Брианом. Хотя любил он „смирновку“, но даже ее просвещал, вливая каплю „Пикона“.

Да, Николай свободу мог оценить вполне! На фабрике вскоре, к весне началось баламутство. Платили поденно семь гривен: не европейцы,—зачем им? Запросов духовных нет. Жадность и глупость! Как овцы пошли. Верно какой-нибудь мальчишка подбил, самого-то выгнали из пятого класса. Смеют такие себя называть „социалистами“! Социалисты—Европа, они в парламенте — вот где! — сидят, а не шляются тайком по грязным задворкам, смущая этих неграмотных хамов. И что же!—Рабочие (мало Глубоков о них заботился, открыл приемный покой, об яслях мечтал!) за мальчишкой пошли.

Три бородатых явились. „Депутаты“, а если по сердцу,—„вопче“ и „чаво“? Статисты из пьесы „Царь Федор“ в Художественном... Набавить пятиалтынный, еще какая-то дерзость, и под конец хозяйское мыло. Глубоков возмутился на Западе требуют свободы совести, а у нас хозяйское мыло! И увидав, что двое ушли, третий же, старый еще мнет томительно картуз, не выдержал, гаркнул:

— Всем паспорта!

Не хотели брать:

— До Петрова дня не уйдем.

Digitized by Google

Вызвал по телефону пристава:

— Очень прошу — наряд. Вручите паспорта. Хорошо бы из'ять смутьянов. Да, да, я заготовлю список.

За вечерним чаем жаловался адвокату Беспятову:

— В Европе союзы, депутаты запросы вносят, а ко мне пришли, встали и стали вычесывать из бороды насекомых...

Пристав к утру всех успокоил. И снова плавной рекой потекли из машин для гостинных достойных голубые и лиловые обои.

О супруге Софье Сергеевне всё было сказано сразу. В первый же вечер Николай опознал ее породу. Дальше детали: стойла благотворительных мык, плюшевое манто, в полночь шпыняет горничных за угарный самовар, постом говела, постилась. (Глубоков клерикалов мимоходом лягнув, осетрину под каперсовым соусом весьма одобрил). Николая просто она презирала, но воспитателю Бори совала двойной кусок кулебяки: поест и добрее станет, как-то сердечней. При гостях за общий стол не сажала—обидеться могут—все-таки он вроде прислуги, но ужин отсылала в комнату.

Сложнее с молодыми. Олег был широкой натурой—кроме святой Софии любил другие вещи, попроще. Часто каялся, но знал и утешенья: добродетель—гордыня, познать грехи—смириться. Познавал усердно (как на крышке холостых портсигаров: головка красотки, бутылка в ведерке и конская морда). Сегодня на Джека в двойном, на Ю-Ю в ординаре. выдавали по двести десять. Этика скучное дело, вздор лютеранства,—выше, где нечто, Подруга—Дама—Мудрость, Николая Олег считал чем-то низменным, но по любви безмерной (как подобает члену содружества „Свет с Востока") все же порой замечал:

— Ну, что вы сказите с вашим марксизмом?.. Плотская радость? Я ее не понимаю. Есть дух, в начальном бреду Майя, потом вознесение духа, астральный мир внизу, Будхэ! Эх, разве вы поймете совершенство!

И от ужаса, что Николай не поймет, но только своей усмешкой осквернит всё Будхэ, Олег Дмитриевич, быстро накинув шинель, мчался к Нюрочке Лапиной, потопив легкую плоть среди пены простынь, с ней взнестись до самого Будхэ.

Digitized by Google

До Нюры, когда́ Николай поступил, была другая – Леля Долина.

Канитель от нее пошла. Вместо духовных моментов, какая-то чуйка на черном каждое утро торкалась. Девственность—цветок, время—опасть, ну—смерть, но не бакалейный басок: „вы, сударь, дите растлили“...

Беда! Глубоков — отец, несмотря на свои Европы, был скуп. Олег получал сто рублей—два заезда на бегах, один ужин в „Мавритании“, членский взнос „Свет с Востока“— и все.

Чуйке надо было бы вместо излияний о слиянии — радужную.

Но рара́ понять не хотел:

— Должен сам на себя пенять—это каждый европеец знает: одно дело певички, другое – честные девушки.

А Леля, действительно, была дочкой лавочника Тихонравова в Трехсвятительском. Кончив гимназию, презрела селедочный дух и огурцы в кадках—есть где-то поэты, прядь на лбу, и глаза в глаза, без нолей капитала, домов, чинов, без свадебных скучных кадрилей, без матушки, без присказки („будешь штопать его носки“) просто: были, любили, любя, пребыли до гроба.

Конечно, встретив Олега—в Крещенье на катке чистопрудном, Леля сразу всё поняла—дома ждут селедки,—„я вам как Изиде!.. это ведь не мое тело, но смутный дух Озириса!“... Пойду... пойду... Ну, разве такой обидит?..

Было не больно—страшно. В „Парижских“ номерах — папаша! Олег уснул. Проснулся месяц—мот и фертик— кинул в окошко чистенькое серебро, потом серебро растекалось, стал пруд, и в холодном пруду плавал томительно раскрыв селедочный рот, Феофан Степаныч Тихонравов.

Затем—расставание. Олега с минуту помутило. Но вышел, вздохнул, вдохнул глубокое утро, и всё позабыл. А Леля у двери в одной рубашке, не могла вздохнуть, ноги клонились к мерзлому полу, прилечь бы! Еще ничего не соображала но глубоко, в недрах утробы жалость явственно екала. Дальше: страх—заметят! Узнали, кричали, папаша ломал прилавок, но и косу пятерней зачерпнул. Разнюхав адрес, пошел проучить Олега. Однако, узрев ливрею лакея, опал, и на черном тихонько бубнил: „дозвольте! по важному делу“.

Digitized by Google

Олег иногда выходил, лакея за собой волоча. Папаша снова:

— Покройте!

А Олег вслух:

— Это был фатум, рок.

Про себя:

— Где бы раздобыть сотню, другую? Две радужные покроют и дочь и папашу.

Леля слегла. Родила. Сосед из посудной сказал: „Тихонравовы нравы", и дочке своей: „Смотри, туда не ходи". В крайней ярости Тихонравов пришел к Олегу. Понял: на этот раз не уйдет. Кинулся к Курбову, (хотя и знал: не поймет дионисова духа) все подробно изложил:

— Вот набираю сотню. Мариетта дала тридцать рублей— осталось от платья, у меня есть—двенадцать, у maman взял десять.

Николай вынул все, что было—сорок и мелочь—дал с омерзением. Олег вложил кредитки в конверт и вышел с лакеем на кухню. Час спустя, Николай, двор проходя, увидел: на приступке сидел Тихонравов, теребя изящный конверт. Всхлипывал:

— Что же, болван, в счета занеси: сколько за керосин, сколько за мед, а вот это за дочку, за свое дите родное!

Стало Курбову жалко до колик в боку, до отдышки. Хотелось купца, как старого пса, пригнуть к себе, потрепать его бороду, пропахшую селедкой, отогреть пальцы, затвердевшие на костяшках счетов, древнее бакалейное сердце обдуть, но не мог, только в морозную твердую ночь кинул:

— Скорей бы снести эту мерзость!

Мариетта, брату прощая все („в нем бродит еще неоформленный гений") Лелю, напротив, презрела:

— Бывают же такие грязные женщины! Мне достаточно, если скульптор Пульков говорит, что у меня готические бедра. Это—торжество линии. А рожать детей, к тому же незаконных, грубая физиология.

И порадовавшись своей чистоте, вспомнив, как Глазов бессильный дышет ей в шею, улыбнулась—надолго (улыбка ей шла).

Николаю же строго сказала:

— Вы можете сколько угодно читать свои книжки—при-

Digitized by Google

роды не скроешь: сейчас видно—плебей. Вы даже не умеете ножа держать.

Впрочем с Николаем Мариетта редко говорила—была занята выбором мужа. Страсть для низких душ, например, для лавочниц. У нее—поэзия. Муж—нужен: положенье, поездки на Ривьеру, журфиксы, и чтобы хороший цвет лица, не как у старых дев. Прыщин, Пульков, даже Глазов быстро отпали—как никак, а стихи не текущий счет. Выплыл Кадык, урод, если угодно. Но, во-первых есть красота и в уродстве (стиль Бодлера), потом—вилла в Ницце, потом для эстетических эмоций остается Глазов. Итак—Кадык. Николай, увидав его, (бельмо, пук пакли в ноздрях кровавых) вежливо поздравил Мариетту.

Не легче было Николаю со своим воспитанником Борей. Не мальчик,—фабрикант в потенции, личинка либерала—заранее начертан и обдуман. Вот только брюки вырастут, с колен дойдут до каблуков, и голос затвердеет, а прочее уже в порядке: десятый год, но, право, академик. Таблицу умножения вызубрить нетрудно. Боря знает существо существ: есть некое добро—увидев гостя, шаркнуть ножкой и руку тетушки Елены вежливо лизнуть, грехи—на стол поставить локоть, на Кадыка болонку „Эмми" натравить. С Павлушей, сыном счетовода—не то, чтобы играть, но и говорить нельзя: он—низший, подчиненный. Быть мальчиком ужасно скучно, надо стараться скорее вырасти—как папа—ждут к столу, но он рассеянно:

— Я занят...

И запахнувши полость, кучеру Гавриле:

— В клуб!

Ах, этот клуб! Что значит „клуб", толком не знает он, но очевидно рай, где черные вороньи фраки, ордена, где все пускают клубы дыма в люстры, блистающие как шары на клумбе, где зеленое сукно, и на зеленом лугу крупными клубниками краснеют черви (папа выбирает черви), где зеркала, а в зеркалах большие дамы с птичьими перьями, вино и мармелад. (Боря слышал—папа говорил Беспятову, что он клубничку любит, Боря любит больше мармелад).

Какой же клуб на самом деле?..

Одно он знает: Павлушу никогда туда не пустят, святыни клубные не для таких Павлуш, а он... он скоро закричит

Digitized by Google

Гавриле „в клуб“. И мама подтвердила: надо только вырасти. Конечно, это трудно: есть две преграды—аттестат зрелости и зуб мудрости. Но всё же прорастет проклятый зуб, и сразу все швейцары дрогнут—с зубом в клуб! Боря знает—с ним не должны равняться ни Федя, ни кузены: Миша, Гриша, Вася. Мама говорила. Всё идет от папы, у него есть что-то: „акции“. Таинственное слово—как будто дерево, (акация?) на нем растут конфеты от Сиу, (чтобы были щипчики и ананасы), большущий орден, боа из горностая Мариетте, Олегу для лошадок сахар, Боре марки редкие—(Венецуэла, Чили); среди билетов на балет, среди третьих блюд, желе и кремов—гнездо из золота—клуб.

Так Боря в десять лет не ведал детства. Груды дорогих игрушек, ни игр, ни смеха. Перед папой церемонный вздох, тихонько в сторону зевочек, а в детской после снов об акциях чудовищная мысль: не шалость—пакость, со скуки: сестре в парчевый томик Маллармэ вложить хвост селедки, (для аромата), прокрасться в комнату старушки гувернантки из Лозанны m-lle Мари и выцветший портрет жениха, упавшего с горы ровно за день до свадьбы, тщательно покрыть чернилами, зад болонки „Эмми“ бензином оросить, чтобы она визжа каталась по коврам,—и всё тихонько, осторожно: может быть, прислуга занесла посуду с селедкой или разлила чернила, может быть „Эмми“, прыгая, сама разбила склянку, может быть... И мама, зная церемонные поклоны Бори, говорила

— Не он! Ах этот мальчик—ангел!...

Николай—он сам еще полуребенком был—детей любил до крайности, но с Борей он терялся: на тонкой шее явственно обозначалась Власовская морда. Казалось, мальчишка пробасит сейчас: „ложись-ка на скамью“. Боря учителя не только презирал, но ненавидел, со дня его прихода встала цель: замучить, истребить.

Ведь Николай бесспорно низший, вроде кучера Гаврилы, его гостям не представляют, к Пасхе мама выслала ему, как дворнику, отрез на брюки и рубаху, живет по милости, и вот такой смеет Боре задавать уроки! За это надо мстить и беспощадно. Дерзил:

—Эй, вы, ученый дворник!

Николай не поддавался, был всегда ровен, тих. Ходил к отцу:

Digitized by Google

— Ах, папа, право я не знаю... Мне Николай Ильич сказал— когда приедет тетушка Елена, не целовать ей ручку, а в сторонку сплюнуть.

Как будто верили, Глубоков громыхал:

— Вы мальчика к экзаменам готовьте. О принципах своих вас никто не просит распространяться. Хоть я и либерал— не потерплю.

А Боря, торжествуя, продолжал: жег книги Николая, перекручивал часы, нашептывал сестре, что Николай подсматривает в щелку, когда у Мариетты вечером засидится жених, словом, работал и не унывал.

Николай, собрав трехмесячное жалование, купил себе хороший микроскоп, и в первый день не удержался: разглядывая рои инфузорий закричал:

—Как хорошо! Боря, посмотрите!....

Взглянул. А вечером, когда учитель пошел к товарищу за книгой, затаив дыханье от радости и страха, снес микроскоп во двор и быстро в клумбу закопал. Вернувшись, Николай окинул стол, всё сразу понял, хотел спросить, но не спросил. Он знал: есть дети, много, без акций, без капель для аппетита, без замшевых гетр, там во дворе, где мастер паял кастрюли в тысячах дворов—им жизни нет. А этот... и без злобы, от необходимости одной, подумал: змеиное яицо ведь разбивают, вырастет гадюка—всех пережалит. Кто „жалость" говорит—обманщик—жалости не знает. Я жалею. И убью.

6.

Так время шло, но кроме книг, корней, таблиц — была еще одна большая радость. В пустыне акций и Софий, в пустыне книг—(слова пески) людей обрел, простых, почти пещерных. Не в стихах, не в исчислениях, здесь рядом— в казармах, где застилали лица капустный дух, портяночная твердь и матерная брань—прореяли пред ним впервые, отражения далеких звезд, подсмотренных в каморке. Ну разве может жить без человека человек?.. Пусть брань и храп, вповалку темный сон на нарах, пусть крыса, выбитая втулка, скула развороченная, пудовая надышанная тишина,

Digitized by Google

среди которой грустно хрустнет хвост селедки, губы, будто крылья, проплещут „Отче наш“, а их поддержит колокольный зык икоты... Но после зал Глубоковских, входя в казармы, Николай как будто просыпался. Он кроме пота и махорки ясно слышал горелый запах горя и тоски, такой тоски, что могут разом зевнуть, уснуть навеки, а могут выдунув из козьей ножки искру, и сон, и дом, и целый мир, как крысу поджечь.

Особенно с двумя сдружился Николай. Старик из упаковочной, Сергеич. Лицо в провалах и в ухабах, раз'ятое лицо. Бывало, увидит—мальчик лепит снеговую бабу, не лепится, чуть вышло—упадет, два глаза—угольки в сугробах тонут. Увидит—ласково посмеется и рытвины на щеках так жалостно раз'едутся, проглотят всё, что вспоминает Николай и другие—тиковый матрац.

Сергеич порою, выпив сотку, раскрывался. Прежде крестьянствовал, конечно,—он самарский. В голодный всего лишился. Побирались. Пашеньку и Глашу (погодки) вынес на плечах. Когда пришел в Самару, уже кончались. А от домов—ведром: зараза. В окнах столько снеди!—никто не подает. Тогда с ним и случилось. Зашел в Успенский—помолиться. Дивный образ: каменья, золото, богаческий оклад. Вот тут глаза раскрылись блюдцами, голос стал чужой и зычный, не крестьянский,—дьяконов распев. Не выдержал и прямо подступил:

— Просыпься.

Ждал, долго ждал—зерна и жалости. А после, изловчась, на золото плюнул—„Щербатовский“, „графьев“, и ничего не стало... Рот промерз,—весь ледяной. Только в праздник—сотку, да мальчику, что бабу лепит:

— Дуралей, ты хворостинку вставь!..

Николай на нежности Сергеича, на этой виноватой улыбке, среди рождественской ватной бороды, на этом застывшем (струя в Лету) „просыпься“ учился воле ясной и сухой—до треска. Ответит старику:

— Чего там... милый...

А сам уже кует огромный циркуль—разметить и начать.

Другой—механик Тагин—вправду был другим. Не больше тридцати и холост. Сам управляющий его ценил, часто советовался,—„американец наш“. И может, если-б был аме-

Digitized by Google

риканцем, еще-б один Карнеджи удивлял мир рассказом, выдышанным вместе с серным облаком гаванны: как мальчик-чистильщик сапог и самоучка изобрел особую систему, вошел в доверие, после приобрел завод и, наконец, теперь пятнадцать голых негритянок по целым дням на бедрах крутят для него сигарные листы отборных ароматов. Но Тагин был из подмосковных—дальше механика не пошел, курил лишь папиросы третий сорт. Зато добрел до многих выкладок и выдумок, которые Карнеджи и не снились. Одно он знал—пытать, и, кажется, порой готов был усомниться в своем носу. Пощупает: уж правда-ли нос, и верно-ли кверху любопытно задран, обследуя темный небосвод. Так, с виду белобрыс, мастеровой и всё,—таких под праздник, на гуляньях табуны,—гармошка, тонет солнце в пухе галантных слов, подсолнечной трухи и дружной ругани (в рифму), но это видимость, а остальное чудо. Тагин, вступивши в мир, а было это в Богородске, в рабочей, темной и тупой семье, каморку с треугольным, вдоль и поперек заклееным, стеклом не медля превратил в Эдем. Хоть был крещен Игнатом, но явственно пришел Адам. Всему дивился—именам и лицам, чугунке и жуку, портрету адмирала в „Ниве“ и суке, загребающей под все сосцы щенят. Не только его нос допрос чинил, но брови высоко взлетали и неуемная тянулась к миру крепкая рука. Есть мудрость вековая—календарь и святцы, закон Христов и мировой судья, столпы державные: „не обманешь, не продашь“, „тише едешь—дальше будешь“, „на Бога надейся, а сам не плошай“ и много других. Хотя учили (три молочных, да два хороших, костяных из'яли наукой) — мудрости не понял, презрел. На все — „а отчего?“ и были эти „отчего“ и „почему“ и „полно, так-ли?“ большими стенобитными машинами.

В белесой голове — верховный трибунал и канцелярия Саваофа. Примерно, так обдумывали мир. Ремонт серьезный— от святителей до нужников — вот люди, даже накостить не умеют!.. Тагин во всё любовно входил. Войдя-же, приглядевшись, (четверть века) не вздумал, как Сергеич, от золота каких-то сантиментов ждать (вообще: не сталь, металл никчемный!) нет, дойдя до двоеточия, стал у приятелей в дело, в воскресной школе и даже в пивной Калинкина искать „такого человечка“. Какого—в точности не знал, но слышал -

Digitized by Google

ходят, приписывают и дают листки. А как-то в воскресенье, пошел, не думая о многом, просто взнеся сапоги до каретной черноты на Воробьевы горы – пара майского вобрать. Вокруг палаток бабки дребезжали:

— Чайку! Чайку! Пожалуйте к нам!

В беседках, густо потея, нагибали чайники, кто честный с чаем, кто обманный с „казенным", и, наловчась, подхватывали однозубой вилкой кубик колбасы, столь издававшей, что спасала лишь пролезшая в беседку ободранная юркая сирень. Тагин спустился к реке. Вдруг видит на лужайке некие сгрудились, а посередине маленький очкастый, всё говорит и говорит. Слова хотя невнятные, но круглые — не подцепить, как кинет шар—все кегли разом лягут.

Тагин подсел, как будто невзначай. Послушал. Кто-то, тоже, видно, энергичный, хотел вскарабкаться наверх и показать всем: „личность". Дудки! В амбицию: рабочий — это класс. „Идеалисты" — кто такие? Дурьи дуры. Очкастый встал, по травке топнул, рявкнул:

— А вы читали „Антидюринг"?

Тагин больше не слушал. Глядел блаженно на потные очки, на круглый рот, (в нем языкастый обтачивал ужасные слова) на двадцать огорошенных голов, кивавших в лад словам и ветру: „Ну, конечно-же, конечно!" Глядел и думал:

— Вот я и нашел такого человека.

За сим пошло всё очень быстро: идейная бородка Игоря-пропагандиста, кружок, а там—к зиме—земля обетованная—районный комитет. Встречая Николая, Тагин вначале был конспиративен, и на вопрос наивный—„кто-же поможет?" ответил насмешливо:

— „Общество попечения о народной трезвости".

Но приглядевшись тщательно, одобрил, и безо всяких околесиц прямо ошарашил:

— Вот вы толковый человек, а почему не в партии?..

И также сразу Николай все понял: книги прочитаны, отчеркнуты, конспект готов — пора писать не на бумаге, а на рыхлом теле Глубоковых, Власовых и прочих.

— Вас свяжет здесь один зубастый большевик...

Дня три спустя Николай во тьме перебирал затоны площадок, выискивая тщетно квартиру 46. Наконец, нашел — „Массаж лица Мадам Цилипкис". Благоговейно замер. Про-

Digitized by Google

шмыгнула рыжая Цилипкис, попахло налету Брокаровской сиренью, и голым локтем приоткрыла дверь. Там верещали: хроменький студент технолог, рябой угрюмый дядя, девица очень тощая, на долгих заседаниях явно утратившая пол, еще какие-то. Дым—тверд.

— Я требую еще профессионала...

Поспешно Николай, без нужды, трижды—всем, а особенно рябому дяде шепнул пароль:

— „Каплун!"

Девица нервно стукнула изгрызанным карандашом: молоденький, не знает конспирации, так прямо „Каплун", сразу видно—не работал:

— А ваше имя?

— Курбов Николай (по гимназически, как вызывали).

Так даже карандашик обломала: при всех „Каплун", фамилия, вот, вот покажет паспорт. И очень неохотно:

— Хорошо, вы будете таскать литературу.

„Товарищ Николай. Нет Курбова—остался на площадке перед вывеской „Массаж лица". Еще не все преграды. Какой-то желтый (будто с'ел лимон):

— Программу знаете?

Ужасно! Перст к небу:

— „Развитие обмена установило такую тесную связь"...

Нет больше слов, но гуд и ворох чудных губ, раскаченное новой судьбой сердце бьет башенный бой. Уже в тумане: воззванья, тезисы, отнести к Гужону, к печатникам, в союз. Комната Цилипкис. Карточки: бебе с барашком и усач—хоть безусловно фельдшер, но Аполлон, „Какой простор" — открытка, и гонг сердца. Так нисходили в катакомбы; эти грязные листки на гектографе, с лиловыми тисками пальцев—каменные: рыба, крест, яйцо.

Свершилось! Чтобы мир понять—его огородили: порог и дверь. Николай вошел в собор, где плиты, арки, купол. Не знал, не слушал, одно:

— „Партия".

Жизнь впала в быструю глухую реку—мускульная дрожь и сердце — целостный кремень, еще не давший искры, и пухлых губ нецелованных жар—всё ей, огромной, непостижной—где надо знать программу на зубок, где надо на каторгу, и не невеста—подкандальник, где Николай один из

Digitized by Google

тысяч, жизнь большая, потная, мохнатая—в стене простой кирпич.

Шел домой, к врагу, в Глубоковское логово—заложник. За пазухой две бомбы: сверток прокламаций, чуть шуршащих,—чтобы даже меченный Сергеич знал—всё дело в капитале, это одна, а под листками вторая, страшнее первой—готовое сейчас-же взорваться сердце. А поглядеть — идет как будто с первого свиданья: гимназистку провожал и физику Краевича в ремне сжимал от страсти. Идет и шепчет нежное, большое имя, оно встает дымком в морозных синих сумерках—легчайший птенец—не „Лена“ или „Вера“—грозное, глухое:

— „Партия“.

7.

У Олега вместо Нюры—Земфира (конечно, в святцах нет, там ситцевое имя Зинаида, Земфира—псевдоним). Не писательница, но живет в самой литературе. Что Нюра—„миленький“ и, словом,—дура. Земфира—в широкой юбке—cloche—колокол и всех корифеев:—символистов, акмеистов, футуристов—по отчеству. Другие: „поглядеть бы в щелку, какой он в жизни“, Земфира же запросто: „ах! Аристарх Иванович!“.. И колокол встречает звоном: озорника мордастого боевым, хихикающего старичка—малиновым (декабрьская пасха), а чопорного,—сюртук наглухо, басит высокие понятия, все в рифму—такого—великопостным, глухим, но обещающим услады. Для бедного Олега—Земфира—мир.

Сегодня впервые снизошла. Вечером—тройка и цыгане, чтобы было строго—поэтично. Олег и сам понимает: человек—не скот. Это скоту на солнце фыркать и только; кобель без духа, без души, с одним дыханьем-сапом, повоет, вырвет клок шерсти у соперника, оседлает суку и после ляжет отдышавшись, подставив солнцу живот. Точка. Олег же человек—Земфира даже больше, несмотря на „cloche“—почти понятие без рифмы, миф. Но тройка, шампанское и прочее—до 40, чаевые... Что делать? Олег растерян—цы-

Digitized by Google

гане—это стихия и вдруг... чаевые. А рара́ ограниченный, кабинетный крот. Европа! Ни взмаха, ничего, какой-то клуб. Ну разве мог бы клубом вдохновиться Аполлон Григорьев?..

К нему не пробует. Вот разве maman?

Как всегда лениво жевала жвачку. Выслушав сына, взглянула привязчиво и меланхолично. Казалось—сейчас нагнется и оближет. Нет, только задушевно промычала:

— Ммы не мможем, ммало средств.

Потом, порывшись в ридикюле, набрала мелочью два рубля.

— Молю тебя—не ешь рубленого в ресторанах. Всегда из остатков, а у тебя желудок мой—впечатлительный и нежный, чуть что...

А что „чуть что", не дослушал. Кашлянув от злобы, вышел в коридор—рыцарь на распутьи. Четыре двери—куда? У Мариетты—нет. Отец не даст. Экономке должен восемнадцать и еще четыре—ровно двадцать два—не подойти. Что же—опять к марксистскому ублюдку? Позор такой? Не может! Кабинет отца— к телефону—сказать Земфире: заболел. Конец цыганам, конец мечте! Вот скажет: болен. Переспросит, „ничего опасного?", и в горле полыхнет опасно! очень! может быть смертельно!.. Ведь там же колокольца тройки, колокол Земфиры, благовест любви. Мужественно взял трубку. Станция долго не отвечала. Рассеянно оглядел стол. Огромный стол—папки, письма, обрезки обоев. Большой лист: „3% заем". Когда же раздалось из гуда океана далекое, подводное „стан-ци-я"—не сказал ей „16-48", быстро лист засунул в брючный карман, покосился на окошко, и—прочь.

Что-же! Вечером мело. В „Стрельне" подрядчик мял пятью обрубками грудь девушки и розу на проволоке—недоумелую ниццарку. Изо рта любознательно выглядывал ломтик семги. Раскормленные морды пели о кибитке, о жарком сне индейского царя. Среди меню и подхалимов—ухало, аукало смутное „у". И про безумную тоску, про грусть, среди устриц, грудь—на грудь.

Олег, кутнув и пальцем выудив на карте „Мумма", нашел под лифом Земфиры понятную теплоту. Будто, он, Олег—поэт! Вдоволь опьянев, слюнявя помадные, приторные как монпасье, щеки, видя рядом стихию—кнопки расстег-

Digitized by Google

нуты—простая баба—не зевай, вдруг поддался „Мумму“, уснул. Со сна кричал лакею:

— Миндаль! К шампанскому всегда миндаль!..

И видя кнопки, робко:

— Узасно, узасно заль!...

Сдуру перепил. Лишний бокал—пропало все, уехала Земфира с каким-то критиком, Олега не впустили в русскую литературу.

Все это было ночью, а под вечер часам к пяти Николай Курбов пришел домой. Оглядевшись, тотчас же пачку прокламаций спрятал в средний ящик комода (в верхнем были книги, внизу—белье). Ящик запер. Сердца же спрятать не мог, тараном било грудь. На стекле инициалов не писал, но смутно поглядывал на дверь. Казалось, покажется „она“: число и звездный механизм развинченного, собранного проверенного мира. Как раньше машиной гордился, ныне партией. Машина знала Микадо, эта—всюду: бербер и кули, все—эс-де. В год войны Плеханову жал руку японец, не смущаясь желтизной и Порт-Артуром. Сейчас о ней какой-нибудь бушмен: в Лондоне стачка, баррикады—„она“. „Она“—бушмен, свободно кидай уду, черный воздух пей! Глядел на дверь—„она“ придет.

И точно: дверь открылась. Вошел Глубоков. Не поздоровался. Забыв про Комба—к столу, к подушке, к шкапу, вытряхивает, щупает, тетрадки, старый носок, записку прачки—всё выпотрошил. Николай соображает—обыск—старается прикрыть комод. К нему:

— Где ключ?

— Здесь мои письма. Нет ключа. Утерян.

И в ярости Глубоков:

— Ага! Нашел! Припер!—Его рукою:

— Скотина! Вор!

Боря в восторге. Бенефис. За дверью не успевал дышать, только бы расслышать. Выскочил:

— Воришка! Он еще у мамы сахар крал, а вчера Мариетта оставила в передней на зеркале двугривенный почталиону, он мигом слизнул и мне обещал тянучку, чтобы я молчал.

Глубоков звонит: позвать кухонного мужика и дворника. Жене:

Digitized by Google

— Ну как не возмутиться?.. Ведь мы его пригрели— почти что сын... Хорошо, что я либерал—не стану припутывать сюда полицию.

Корова, сообразив:

— А я еще его кормила! Действительно, какой нахал!..

И в гневе лиловел дородный, полнокровный либерал.

Пришли глыбастые. Матвей от усердия даже рукава засучил.

— Вы под руки и вон!...

В корридоре Мариетта. Как всегда грустна. На розовых губах, еще не стертый толстогубым Кадыком последний стих сонета. Николаю брезгливо:

— Я вам дала бы сама какие-то копейки... Господи, как прекрасны крестоносцы, Мадонна и вот... простонародье...

Матвей сочувственно:

— Мазурик!

И может сам надеясь двугривенный от барышни заполучить, приложился увесисто к плечам Курбова. Сени. Снег.

Охватили: сверху—свет люстры—бра, серебрянное бульканье рояля—Мариетта играла „буль-буль, буль-буль"— „Томленье Прометея" (так полубог причесан, вымыт), еще— Матвея сивушная отхарканная матерщина. А снизу—снег. Унижен.

Вытер рукавом лицо—ссадины. Идет к Сергеичу. На нары лег, прикрылся кусачей овчиной. Сказал Сергеичу, Сергеич пожалел.

Николай не сжимал зубов, как полагалось: со стиснутыми, кажется, родился. Заранее знал: ударят. Выговаривал, почти что с нежностью, как „брат", взволнованное слово: „враг". Унизили вот так: ну что же, ну разве этот Комб с лиловой шеей виноват? Ведь он не мог иначе: враг. Когда придет „она": районы, городские группы, сознательные члены, разметит, обозначит, приступит—такой Глубоков затрясется, ноги забудут либерализм, пойдет обои делать, словом, тогда—эдем. Одна обида—пропали прокламации. И как признаться секретарю? Если был бы сейчас листок—прочел бы Сергеичу:

— „Товарищи, в Думе помещики и фабриканты"...

Ну, все равно, он скажет без листка. Под овчиной закрутил. Не гнев, не пыл. Слово за слово—чертеж. Так—было,

Digitized by Google

так – Сергеич знает. Есть партия. Кружки. И будет вовсе по иному. Вот так. Ну что же? Сергеич, а?...

Сергеич понимает. Что Николаю—пухлые зачитанные книжки—ему давно в одном: „Просыпься“. Сергеич знает и не верит. Конечно же с утра приятно, думаешь—перекувырнешь. А вечером зазорно. Ничего из этого не выйдет. Одно целение знает—не слова, не ласка, не человеческое скудное добро—одно целение: сон. И Николаю, заботливо законопатив овчиной щель:

— Поспи, касатик!..

Кусается овчина, ходят на боках, боком ходят вши, в углу со сна рыгает Гаврюшка-возчик. Сергеич улыбается, и, яма—ямой.

— Касатик...

И засыпающему Николаю снится: мама, меж двух гостей—к сундучку, единственное детское, забытое за годы, слово: „Спатки“.

А после до утра: крылатый шум, гуд пчел, огонь—пора! И с боку на бок:

— Враг!

8.

Утром оказалось: кроме чисел — хлеб. Поглядел недоуменно на ватный день; и небо, и дым из труб, и заспанные лица—всё вата, грязная, к весне, меж рам. Пошел по переулку. Ворота. Пивной завод. Репетитором, чтобы Мариетта?... Нет! Здесь ближе к делу.

Час спустя выстукивал порожние бутылки. „Динь-динь“. Быстро всю корзину об'ехать. Как музыкальный клоун. Где трещина — срывается, звук жалуется — „ах!“ — такую прочь. Концерт с шести и до шести. Шестьдесят копеек, на своих харчах. Жить можно.

В семь на явку. Пароль, листки и всё как надо.

Пошло. К весне пригляделся. На пивном — кружок, восемь человек. Уж он „организатор“. В районе — секретарь товарищ Надя. Курсистка. Влюблена в пропагандиста Глеба. Разумеется — идейная любовь. Но только Глеб, рас-

Digitized by Google

сказывая грудастой Варе в какой печальный эмприокритицизм ударились иные из верхов, вместо точки рукой на миг — к груди — товарищ Надя, забывая свои обязанности, роняет блок-нот, адрес путает, немедленно выбывает из строя. Сам Глеб — мужчина как мужчина; мог бы быть агрономом, публицистом, агентом „Саламандры", кадетом, просто дядей Глебом — стал эс-деком—профессия. Почти служил. Исправно раз'яснял и во время готовился; ни Надя ни Варя не отражались на конспектах. А зачем и как — не думал, так уже вышло, каждому свое.

Еще товарищ Тимофей — дискуссия Если разобрать на составные элементы — три: чахотка, пенснэ и в упоении брызги слюны, жестокий водомет. Враги природные его не занимали. Царь? Всякий знает: царь — зло. (Всякий, то-есть два десятка приятелей; посетители столовки на Малой Бронной и прочая периферия). Кадеты — тоже ясно, даже дураку. Враги — меньшевики. При этом слове Тимофей яростно кашлял, так, что пенснэ галопом пролетало ввысь, и взрыв слюны. Готов был ночью, на морозе, засыпая, со сна, и даже во сне начать дискуссию; так и снились: толстые методологические ошибки, выводок хромой—неправильные выводы, юркие мальчишки: подвохи, остроты, „на слове поймал".

Как-то перед с'ездом (тогда еще „об'единенная" жила) мандаты набирали. Последнюю труху — там три наборщика, здесь завалялись булочники, еще какие-то сомнительные шляпочницы. К Николаю — на пивной. Явились меньшевичка Елена и Тимофей. Куда ей!.. Рохля! Пока раскрыла рот, уж Тимофей ее разоблачил. Муниципализация и прочее, а попросту, для неразличающих различий — ревизионизм. Пенснэ — высоко. Рабочие — так ее! Ишь норовит, чтобы нашему брату меньше!.. И Митюшок, особенно, ортодоксальный, вкусно вспомнил „мать". Рохля чуть покраснела, розовой ушла. Носа больше не покажет. Еще набрали восемь голосов.

Всё это видел Николай. И часто, пересчитав бутылки, лежа в каморке, был готов отчаяться. Подходило — вот после тысячи бутылок достучался — одна надтреснута, дребезжит: „оставь"! Видел: Надя, Варя, много — скопом — стечение обстоятельств; груди ждут: сначала затвердеть

Digitized by Google

под пальцами любовника, потом набухнуть — детеныша вскормить. Какое-то сопровождение. Ведь если б Глеб был фабрикантом — Люба: „рабочие тебя обкрадывают", музыкантом учила бы сольфеджио (на стенке Бетховен). Тьфу!. А Глеб — он на собрание, как в департамент — отслужить. Тимофей? Драчливые парни, без ревизионизма прямо по мордасам—хоть проще, но серьезней. Ерунда! Все вместе — люди, то-есть нечто вроде Глубоковых, ну лучше, добрее, в бедноте своей честнее, но все же не числа и не звезды, а туши, груды необработанного мяса, темное сырье.

„Готов отчаяться", но не отчаялся. На краю удержался. Разум спас. Пусть жалкая гнилая мешанина. Это — люди. А партия—динамо... Надо людей заставить стоять согнувшись у станков. Машина же не может ошибиться. Расплющит все и выкроит иное тело, иное сердце, иных, совсем иных людей. Пока — не унывать. И молодость большая помогала.

Еще—рабочие. Не ругань, не праздничная жадная тоска, и даже не кружок, где восемь смельчаков мечтали: „и никаких тут околодочных"... Нет, по утру, когда суров мороз, косое солнце—скупо—в сгибе рук, в дыхе труб—большое колесо—труд.

Летом—зазубрина. У Николая был кружок, почти эпизодический: краснодеревцы отделывали на Полянке трактир с причудами. Собирались на квартире у Михайлова. Подвальные удобства — без соседей, хоть всю программу раз'ясняй. Но у Михайлова была жена — костлявая и злая, рот—нитка: в микроскоп глядеть, а из него не голос—шип. Когда Михайлов уходил в пивную Трехгорного, погулять или по партийным—глубже в себя всасывала губы и шипела. После на свет несла мужнину рубаху: искала волос разлучницы. Возненавидела до задыхания. Как-то в июньский вечер собрались. Николай изображал период начального накопления. Еще—передыхая, пили чай с клубникой и вытирали рукавами лбы, исходившие испариной от „накопления", от чая, от жары. Дверь раскрылась. Ждали шипа, нет—шашек стук.

— Собрание? Обыскать! И всех в участок!

Даже клубника буколическая не помогла. Провожая, костлявая впервые улыбнулась, нитки чуть обозначились:

Digitized by Google

— Там тебе покажут с девками гулять!..

Впрочем, Михайлова и прочих отпустили. Только Николая приберегли. На утро—в Басманную. Ввели в контору. Смотритель—Пасюк с торчащими резцами, но в мундире—сразу ошарашил:

— Скидай портки!..

— То-есть как это?..

— А ты без „тоись“...

И сняли—обыск! Рылись, живое тело потрошили. Какой-то сопач рукой мозольной (будто рукавица) в рот забрел, под языком проверил.

Камера—вповалку, кашель, скрёб, смрад. Освоился — ведь знал, на что идет. Но кругом беспокойно было. Пасюк работал неустанно, измывался во всю. В камере четвертой сидел молоденький парнишка, гимназистик, Женя Фикелевич. Подготовлял не только гимназистов, реалистов, но даже институток к „ниспровержению“. Тюрьмой был горд. Ему родители прислали ночные туфли и домашнее печенье с миндалем—стыдился. Вообще стыдился, что баловень, что жил в семье, что там кроватка с голубым атласным, что утром приносила мама кофе и ручку калача. Хотел казаться бродягой—без угла. С утра и до ночи служение революции. Вот розового Женю Пасюк особенно возненавидел.

— Жиденка изведу—(и острые резцы выглядывали жадно).

Как-то в воскресенье Женю вызвали на свиданье. Мать. В конторе. Пасюк уж тут как тут.

— Скажите, сударыня, как вас угодило этакую пакость уродить?..

Женя:

— Не смеете!.. Я прокурору!...

Мать дрожит, шляпка на бок, сумка на пол...

— Женичка, молчи! Вы,—господин смотритель? Простите, что мы вас беспокоим...

Пасюк доволен. Женю назад ведут.

— Как вы смеете?..

— Вот я те с'езжу в харю!..

И бац. А через час Женя, выйдя в отхожее, не возвращался долго. Сторож Бабич пошел удостовериться. У двери вздрогнул. На помочах... Под подушкой нашли туфли, (стыдился—прятал) крошки миндального печенья, и на клочке

Digitized by Google

от папиросной гильзы: „Дорогая мамочка, я так боюсь... Мамуся!..“

Николай—рука на железе окна—сухой глаз, сухой сон, железная тяжесть, сердце—запор—порох. Когда же? Скоро!

Пока что—месяцы в тюрьме. Допросы. Ротмистра бархатный баритон, чай с лимоном.

— Я душою с вами.

Белки глаз мечтательно ввысь — Гретхен в голубом мундире.

— Ведь я почти революционер...

И снова нары. Карцер. Крысы—другие, без службы. Мокрицы—за шиворот. Голодовка и плевки на хлеб (от соблазна). Однообразие: снова били, — в „пьянку“, на блевотину. Осень. Скоро ли?

Потом скитания. Теперь „профессионал“. В Николаеве забастовка, судостроительный. Урал — выборы. Волнения среди матросов. Севастополь. Надо связаться с солдатами. Военная организация. Несвижский полк. Был дворянином Кадашевым. Тер-Бабаньянц, армянин из Нахичевани. Сольской волости, Елецкого уезда, Гавриков Илья Иванович. Бельгийский инженер Сельвер. Имена. Прописки. Приметы. Аресты. Тюрьмы. В Баку провал. Сидел в Лукьяновке. В Иваново-Вознесенске меньшевистское засилье. Самарский централ. В Крыму ингуш — нагайкой. Чайные. Ночевки. В среду, в 4 печатники, в 6 ч. р. к. Где ночевать? Блокнот. Адреса на папиросной. (В случае чего - проглотит). В тюрьме отдохнет.

Одно особенно любил: выступать в рабочих казармах или на митингах, чтобы было побольше лиц чужих, неперелистанных. Еще—чтобы не было имен. Войдет—высокий, худой, в просиженной на разных заседаниях шляпе. Смотрят—„агитатор“. Тянутся. Он знал эти движения: выгнутые пружины шей, руки выпростанные, чуть приоткрытые, сухие прогорклые рты. Бородатые—как школьники—на доске мелом „О“—и каждый ротик тотчас становится таким же „О“—удивление.

Говорил складно, внятно, слов не кидая пригоршнями, будто мот, бережно раскладывая по всяким головам—курчавым и плешивым, как домовод припасы. Сразу видел всех и никого не видел. В такие минуты верил—не зеваки,

Digitized by Google

не пьяницы, не лежебоки, не мусор—обожженные в горниле муки кирпичи для новых строек. Слово грузное и рыхлое как мясо кидал восторженно:

— За нами массы!..

Второй и третий раз в казарме. Видел, кто и как. Василий из казенки раком ползет домой, да не простым—вареным. Федька—разбуди его и то—„орел или решка“? Зобастый Влас всех девок упаковочной, распаковав, прощупав, испробовал. Увидит, хвост закрутит, мигом увильнет. Всё это Курбов вскоре замечал. Не брезгал, не осуждал, усмехался ласково:

— Ну, вам, товарищ Влас, сегодня не до Маркса...

Но исчезали первичные громады. Как глетчер таяла величественная „масса“, обнажая кочки жалкие голов: Василия искристую лысину, смешок молодцеватый Власа.

В каком то из мелькавших городов среди людей встретил человека. Цекист. Кличка „тов. Иннокентий“, (имени, кажется, и сам не помнил),—больной. Ночевали вместе, снял пиджак—лохмотья. Есть забывал. Но не было в нем ничего от аскетизма марксистских начетчиков, среди комментариев, затерявших простую радость. Взглянет, улыбнется и глаза усталые, чуть прищуренные, раскроются в таком младенческом упоении, что встречный—какой нибудь усатый регистратор, враг и дурак—тоже взглянет, тоже улыбнется в рыжие колючие усища—жить стоит!.. Раньше кажется такие в скитах живали: молились, перевязывали лапу подшибленному журавлю, вне мира были с миром. Теперь не в монастыре, где белуги под соусом и щедроты молельниц, а в самой изуверской партии—такой сыскался. Прочел он... прямо всё прочел, на конгрессе Жореса переспорил, разумного желал, а в сердце—любовь бесхитростная, отрешенность: дитя, лесная ягода, улыбка.

Николай его встретил на собрании. Туземец—щенок читал доклад об „использовании легальных союзов“. Вздор, а где не просто вздор—там ересь, синдикализм. Николай его без напряжения, мимоходом проследив, разоблачил. Такому надо таскать прокламации, а не с ответственным докладом выступать.

Ждут, что скажет товарищ Иннокентий. Медлил. Был мягок до отчаяния. Да, принципиально, конечно, но доклад

Digitized by Google

все же очень интересен, благодарить докладчика и прочий мед. Николай был возмущен. Вышел с цекистом.

— Товарищ, зачем вы прямо не сказали—вздор? Ведь это развращать таких балбесов...

— Вы очень молоды. Он тоже. Вы умней его, но не старше. Да, да. Вот вы не понимаете, что он придет и ляжет к стенке: приезжие сказали, значит, я—ничтожество, зачем же жить?.. И будет ему плохо, так плохо,—камень-голова, щемит, клубок под ложечкой. А плохого много и без нас...

Николай жил двадцать два года, много видел. И вдруг неожиданно, как руку на плечо—что это?.. Растерянно замер. Остановился даже у голубенькой калитки. Товарищ Иннокентий, взглянув, увидел приподнятые брови.

— Ну что там!.. Я ведь не против вас... А просто надо пожалеть. Без этого и дня не проживешь.

„Жалеть". И Николаю это плеть.

— Жалеть нельзя—для дела вредно.

Товарищ Иннокентий вздрогнул (ему черед), чуть двинул бровью—этого еще не слышал. В первый раз нагнулся—такая глубина!.. Не знал, что вытянув худую шейку, щурясь синим близоруким глазом, заглянул в грядущее. Ласково пробормотал:

— Не так, не так...

И чуя, что словам нет власти над жестокой бледнотой Николая, хотел его пронять беззлобным смехом:

— Разве у нас в программе сказано, что нельзя жалеть?..

И снова - плеть. Николай выжал:

— Может быть. Ну, мне сюда. Прощайте.

Товарищ Иннокентий долго вслед глядел. Потом печально усмехнувшись, побрел к какой-то фельдшерице, где ему дали ночевку. Хозяйка варила варенье. Пенки в тарелке с голубой каймой. Спросил—как ягоды этим летом—не дороги ли? Вдохнул жар и сладкий пар. Вспомнил что то, и на губах, где расползалась скрученная папироска, почувствовал: сначала вкус пенок, потом печальный материнский поцелуй. Уж вечерело. Подошла собака—старая, с седой бородой, жалобно под шала в руку. Товарищ Иннокентий подумал о Николае—как глядел в упор. Захотелось при-

Digitized by Google

лечь. Болезнь сказывалась. На этот раз он смутно порадовался ей—ущербу, слабеющему ходу разреженного и разряженного больного сердца, прохладе, вечеру, концу. Заглянув куда-то, вдруг отяжелел. (Через год—в пятнадцатом он умер, не увидев, чем закончился вот этот спор, в нежаркий летний вечер, по дороге где-то, кажется в Уфе когда сочувствующая фельдшерица варила варенье из лесной малины, а в переулке белые белели щеки и вспыхивали жесткие глаза).

Расставшись с товарищем Иннокентием, Николай не пошел домой. Он долго бегал по пыльным уличкам, пренебрегая конспирацией, пугая сонных обалдевших кур. Был тоже он над самым склоном, ясный математик готов клубком свернуться, умереть. Забрел зачем то в чайную, взял „пару". Чубастый мастеровой кинул пятачек в машину—машина не ошибаясь проплакала про бура. И чубастый растравленное сердце, неудачливую жизнь, картинку красавицы из „Нивы", мух и скуку вылил в одно пронзительное верстовое „у-у-ух"! Николай глазом не повел. Камень. А внутри всё ходуном ходило. „Жалеть"? Как тот, у фельдшерицы? Был он другим. Рожден иначе. Пенок вкуса не припомнил на сухих губах. И для других годов рожден. Такой не мог бы умереть в пятнадцатом. Он должен был дождаться и дождался Вынянчила не любовь, а воля. Жалеть? Но стоит пожалеть ему, и вскочит очумевший, обнимет всех: трактирщика, чубастого, машину, мух; весь изойдет в соленом ливне. А после—ничего. Ложись на скамью, пей чай и—если очень сильно нальется гневом сердце—ухай—„у-у-ух". И все останется, и будут где-то мамы работать—(тиковая ямочка), Провы шуршать ассигнациями, и Мариетты—сонеты, бас Власова, бычьи шеи, мясо с перстнем, нежность вшивая Сергеича—тухлятина, цыц, Коленька, лезь в конуру, лижи сапог и блох вычесывай, пока не околеешь! Вот жалость! Нет! Николай Курбов не может жалеть!..

Из чайной вышел твердой поступью. Зачерпнул немного северного ветра. Среди домиков, утробных, теплых постельной душной теплотой, вот этот ветер и гудок вырвавшегося в поле паровоза („я рою горы!") редкое сердце—боем. Скоро! Уж скоро!..

Digitized by Google

Австрия. К посольству!..
— Как же так?.. позвольте прикурить!..
— Братья!.. Славяне!..
— А ну их к матери!..

Той теплой ночью Николай, среди слезы и зыка, познал такое одиночество, что кажется он был не на прокисшей, тихой Мойке, где набегая с Невского, прапорщики, экстренные выпуски, шлюхи, подвыпившие призывные сновали, плакали, с молодцеватым свистом выплевывали новое слово „война"—не там—в пустыне.

Заранее всё знал, без директив: Англия, Германия, империализм... Но что же делать с этим знанием, когда даже тумба готова, подбоченясь, гарцевать, колоть, стать знаменем или наглой телеграммой? Груды туш, домов, вещей, шпицы, купола, каланчи, все взбесились. Вывески кричали: воевать! Золотой калач, от чванства раздувшись, требовал: „Сожрите, растопчите, я неистощим"! И он подмигивал при этом рогу изобилия, с плюшками и с прочим. Сюртуки и брюки портняжек, без голов, уже маршировали. Колбасы пахли падалью, окорока сочились дикой олифой. Надо всем торжествовал сапог. Он долго жил своей отдельной жизнью, рядом с „Иллюзионом", напротив кулинарной школы, в доме № 26. Услышав топот, стал опускаться, доказывать: „Зачем нога? Я сам. Пройду в Берлин. Я растопчу. Я—с вывески. Я рыжий, дикий, самодержец". Курбов чувствовал на голове пудовую пяту. Бежал. Но из домов выглядывали пуза комодов, легионы дессертных вилок, крокодилов оскал кушеток, портьеры, вздор. Вещи явственно не могли терпеть: много, тесно. Люди тоже. Образовалось море. Николая несло час, другой, наконец, с гулом выплеснуло. Он шлепнулся о дверь, скатился со ступеньки. Может являлся уже трупом и некто, будто заправский поп над ним пропел:

— Одын кахэтинский!

В кавказском погребке войны сначала не было (две двери, к тому же обитые сукном и шесть ступенек). Засаленные, заспанные ковры лениво колыхались. Баранье сало. Жалостно: "Алла верды". Шмыгала какая-то девица, (вероятно Нина.) Глаза масляные и мокрые, как подмышники. Николай, уже

Digitized by Google

бездумный,—утопленник на оникслушпилкахе-неоп — тинское.

Вскоре война стала просачиваться, сперва по каплям. Двое:

— Вильгельма за усища!..

— Милянький ай-а,ай! милянький, подстрелят тебя пулей, прямо в пу-у-уп.

После, прорвав сукно дверей,—ватагой. Буйные бутылки в восторге выстроились: снарядов хватит! Засим — Берлин. Высочайший путеец нашел на стойке кинжал для шашлыков, с девизом „смерть барашкам", машет. У Нины из глаз-подмышников течет густой, любовный сок:

— Ты храбрый!..

Запели. Бутылки тенором и чисто. Люди фальшивя, отрыгая детские уроки, экстренные выпуски и дрянное винцо.

— „Боже, царя́ храни!"

Вдруг видят: один не встал, не отрыгает, над столиком нахохлившись, ест с хрустом огурец. Обступили Курбова, так человек пятнадцать:

— Пой: „Б-о-оже"...

— Пой!

Здесь чей-то штык и „смерть барашкам" и подмышники, и все—одно:

— Пой!

Знал—не сделает. Но крепче сжал рот, боясь, что вырвется случайно какое-нибудь мягкое зализанное слово, вроде „не надо" или „перестаньте".

— Пой „бо-о"... „пой „бо-о"!..

Встал тогда, широко рот распахнул и отрыгнул—не „бо", весьма рогатое:

— А ну вас к чорту!

Чорт выскочив задорно рогами боднул путейца. И высочайший обомлел. Потом ударил. Полетели: Курбов, столик, бутылка, огурец. Кахетинское легко смешалось с кровью Докончить не могли: дальше несло, и в дверях еще разок отчаянно рявкнув „царствуй на славу", все выкатились прочь. Хозяин с пьяным армянином, успевшим уже выжать подмышники девицы, подняли Николая и выкинули на

Digitized by Google

улицу. Какой-то проникновенный патриот смутился, но армянин его утешил:

— Человэк пэрэкупил.

Николай поднялся, долго, слюнявя платок, вытирал лицо. Так одинок! Так нескоро! Гигантская „партия"—крохотная девочка, ручкой махнет „долой"! Эти усмехнутся: „Пусть себе"!..

Светало. Взболтанный народ еще ходил, не мог осесть. Вдруг, оглядев толпу, Курбов зажмурился: ясно стало—истопчут, нашинкуют, человеческая окрошка, „пулей прямо в пуп"... Отнюдь не тигр, но это осознав, удовлетворенный почти что облизнулся. Да, штука будет посильнее всех Власовых, Глубоковых и крыс в мундире!..

Мойка пахла сыростью, чухонской, скряжнической, мелкоканцелярской духотой. Но Николай услышал плотный кровяной дух. Разволновался: „пулей прямо в пуп"!.. Будут многие пупы, ощерясь, мстить. Также бегать по канавкам, сбивать с наскоку картузы, зальют все погребки, дивным кахетинским прополощут грязный камень и гранитные седалища сановников. Видя такое, Курбов радовался дню, одышке одутловатого Петербурга, экстренным выпускам, синякам, войне.

Заснул уже утром. Шепнул в подушку вздорным шорохом:

— „Смерть барашкам"!..

Засыпая, видел, как по миру ходил чудовищный циркуль, отмерял, назначал и вписывал одно в другое. Видел сердце без воя и без войн, строй, солнечный зной, глазастый разум. Видел еще голый город: в одной стене миллионы иллюминаторов. Дальше—число пришло к числу и два числа торжественно молчали. (Но это видел уже во сне).

10.

К дочери хозяйки (Курбов жил тогда на Кирочной), к Мирре хохотушке приходила подруга Таня Епифанова. У Николая книжку попросила. Потом все чаще, уже не к Мирре, а (третья дверь направо) к Николаю.

— Можно? я помешала?..

Digitized by Google

Вместо ответа, с полки, еще одну колючую достает. Ну, как такую проглотить?

— Вам надо усвоить диалектический метод.

Бедная обмирала. Знала: дома—шарады, фанты, танцы, шоколадное печенье „империаль“ и „je vous aime“ Пети Петухова. Еще: она—дочь капитана в отставке, Таня Епифанова, у нее две руки — обнять, голова — ночами думая измыслить нечто сложное и важное, например, „Коленька“, „родимый“. Но читала: „антитезис... синтез“.

Раз Николай, одобрив, сказал:

— Вы будете работать в моем районе.

„В его“! С ним! Район — почти шалаш влюбленных. Диалектику, стыдясь себя, тихонько заедала Блоком, тогда у Курбова оказывались роза и секира. Закрыв лицо ладонями, Таня со сна его звала:

— „Мой любимый, мой князь, мой жених“.

Капитан в отставке книгу нашел („Карл Маркс, 18-ое Брюмера“). Страдая астмой, так задышал, что подвески люстры грустно всплакнули, швырнул, учинил допрос, Мирру с Кирочной обозвал потаскушкой.

— Запрещаю!.. Молчать!.. Прокляну!..

Таня „18-ое Брюмера“, обиженное капитаном нежно поцеловала (не это ли его письмо?)

— Он герой!

— Жидюги! крамольники! прохвосты!

Об стол. Люстры навзрыд. Кричит:

— Не то прокляну.

— Я тоже буду... и в его районе!..

Через час—третья дверь направо. Николаю:

— Отец отсталый... Мы разошлись навеки: помогите мне пристроиться. Я умею немного по французски и еще штопать пацины носки...

Ночевать оставил у себя. Октябрьское солнце поцеловало мерзлое окно, и стекла—старушечьи щеки—облились слезами, оттекли. Оба молчали. Таня не выдержала.

— Вы подумаете, что это нечестно... Все равно! Я должна вам напрямик сказать: у меня, кроме убеждений... Ну, как сказать?..

(Рот приоткрыт и все готово для слов, а нет их, тянет, тянет из себя, как из колодца тяжелое ведро).

Digitized by Google

— Николай!.. Я про себя зову вас просто Николай... Словом, я хочу чтобы вы меня...

И это уж не вслух—чертеж губами:

— Любили...

Николай чуть-чуть согнулся, но быстро вспомнив и Тань, и Варь, и Кать, озлился. Что им партия? Капитан, ну, помоложе, чтобы гуманный, и в театр, гости, дети... Не ответил Тане. Долго, громко возился со спиртовкой: надо чай пить. Когда вскипел, сказал:

— В моем районе много работников, а вот в Василеостровском был провал. Вас—туда. Я завтра скажу секретарю.

Таню уложил на свою кровать. Сам—на пол, в углу. Но не спалось. Женщин Николай не знал, хотя по возрасту, как будто полагалось (был ведь крепок и здоров). Может, память удерживала: ночи на сундуке, гитара, визг, маменькина ямка. Как в иных девушках, в нем настоялось трудное, густое целомудрие. Улыбался женщинам, и часто, проходя по летним уличкам, радовался на влюбленных, сам же никогда никого не целовал. Порой по телу ползло что-то мохнатое и теплое, как большое насекомое, в голове распластывало крылышки, и бились невнятно залетные слова: „милая", „нежная". Отряхивался, как с дождя. Теперь — сильнее. Вдруг звук. Не сразу догадался, что это слезы. На Николая хлынула влажная обморочная теплота, как в летние, сырые ночи. Закрылся одеялом с головой: там в темноте высовывала шакалью пасть любовь. А что с ней делать—с этой любовью?..

Таня всё всхлипывала. Углы узких плеч подскакивали в такт. Вот так! И ничего не будет. Ни жениха, ни того, другого... И даже не в его районе...

А Николай уже дышал ровно. Глядел на потолок: трещины свивались в какие-то мифические буквы. На неизвестном языке значилось:

„Все ерунда".

„В четверг в 4—явка".

„Будет когда-нибудь легко".

Чувствовал—осилил. Мысли сцепились, отхлынув—правильно текла вышколенная кровь. „Любовь? Мне не нужна любовь!"

Утром снова спиртовка и деловое:

Digitized by Google

— Вам лучше всего поехать на трамвае № 34.

Спустя неделю, встретив секретаря Василеостровского района товарища Максима, спросил: как такая-то?

— Не было такой.

Вот тебе! Зачем же с ней возился? Как будто таким дорога партия! Самки! Конечно, любовь в природе—но час, но день,—у этих всё. Когда мы одолеем, надо устроить школу для девченок: с детства приучать, чтобы любовь и дети на месте были, не утром и не днем. Так, побрюзжав, вскоре забыл о Тане.

После: морозный засиневший вечер. Сочельник: нагруженные свертками, пакетами, кулями, заиндевевшие спешат, чтобы, окунувшись в тепло, выронить крымские яблочки, золоченые орехи и красные рождественские носы. В паре расплываются, сдаются парадизы витрин: закрывают—поздно. Свертков всё меньше, Светлые пятна и гам переместились в этажи, где за портьерами и шторами: детвора, суетливое предчувствие, распакованные звезды. Только редко—запоздалый тащит купленную подешевле елочку.

Бесприютный Курбов долго разыскивал—где найдется завалящийся огонек. Набрел: „Чайная"—еще открыто. Два китайца, не то улыбаясь, не то грозясь, во всяком случае переставляя время от времени таинственные скулы, орудуют с чайником. Хоть рядом кипяток и сахар, но сивушный аромат все тайны выдает. Еще—девица. Сначала Николай не узнает: нечто знакомое, может быть, случайно, на улице заметил. Потом эта знакомость щекочет мозг, перерывает воспоминания. Какие то намеки тонут в малиновом море румян, в треске юбок: ясно—с Невского, откуда же знает?.. И вдруг—уже не памятью, а чем то встающим из живота: мохнатое ползло, ночь, слезы.

— Товарищ Таня, я не узнал вас...

— Напрасно узнали... Вам ли такой интересоваться...

— Что вы!.. как же!.. А почему же вы не пошли тогда на явку?..

Таня смеется так громко, что серьги, чашки и даже скулы китайцев перемещаются:

— Это очень скучно! А я живу весело. Вчера была в „Электротеатре". Глупышкин зацепился за порог, разбил в посудной лавке все миски. Хи-хи!

Digitized by Google

И снова общее колыханье.

— Потом — фарс „Когда его нет дома“. Вы не были? Ужасно жаль! А впрочем до свиданья: я пойду вот к этим желтым. Они уже пригласили.

Встает, но как-то слишком быстро. На пол—сумочка, из нее: зеркальце, мужской дырявый кошелек, трубочка губной помады, грязная плешивая пуховка, новые чулки, неизʼясниме прозрачные: лес поздней осенью и наконец — книжонка. Николай невольно любопытствует, ах! „18-е Брюмера“.

— Отдайте!..

Голос снова вверх, и трах — разбился, прямо на земь слезливым задыханьем. Бегом к китайцам. Из горлышка чайника пьет залпом.

Закрывают. Курбов один среди торжественной морозной тишины. Слышит еще: „хи-хи“ и слезы. Надо забыть, не слышать, отмести. Зачем такое? Просто ей был нужен муж, какой-нибудь капитанишка. А впрочем: не то... Может быть, любила?.. Мохнатое опять ползет. Но лучше без любви. Если поддаться — пойдут уют и прозябанье: дети, елка, грецкие орехи. Затвердеть. Стать свежим, белым и прямым, как этот пустой, окрыленный новым снегом, летящий дальше, в ночь и в мир, проспект.

11.

Вскоре перекочевал в Москву. Там с одним сошелся—тов. Сергей. Технолог. Веселый. Лицо—славянское поле: направо, налево гляди, до неба. Небесный глаз. Нос—недомолвка. Рот лишь в эскизе. А вместе—подмосковный пейзаж. Зря говорят о таких: „душа на распашку“. Просто в адамовом виде, ее и запахнуть нечем. Николая, видевшего в жизни прямые дороги, огромные грузы, задачи, отмычки, крупный конский пот, его—прямого, сухого, с точно очерченным белым лицом, с чернильной чернотою глаз—прельщала в Сергее женская мягкость, щек припухлость, расплывчатость слов.

Сергей любил с рабочими после политики выпить—где нибудь на Воробьевых—чесунчевая рубаха, ворот отстегнут,

Digitized by Google

итальянка—и дерет, дерет „погубил бы я Нюточку, да она заплакала"—как ножем по стеклу—Нюты жалко—слез ли или потерянной оказии—кто знает—только очень жалко. Сил нет!

Так в будни Николая он приносил какой то дух примятой травки с яичной скорлупой, разудалых жалоб, студенческой тоски, пивной, слегка слинявшей, но все же с запросами.

Был первым другом Николая. На масляной сняли вместе комнату—у Серпуховских. Сергей на новоселье повесил портрет Андреева, сглотнул четыре бутылки портера и приложившись к Леониду, задумчиво пролепетал:

— Проклятье зверя!

Вечерами—беседовали. Ну, кто же подумает, что Курбова, который мальчиком глядел на звезды и слушал топоты ямбической строфы, могли насытить две явки, тезисы и ежемесячные отчисленья семи Эйнемовских конфетчиц? Сергей попался. Сергей был первым, допущенным к такому часу, когда угрюмый Курбов, как Пушкинская Таня, как все в начале жизни: технологи-пропагандисты, любители футбола, модницы, модистки, все—боясь дохнуть (дыханье—жизнь) боясь взглянуть—бессонно разгораясь в истоме розовой, кладут, чуть-чуть пригнув углы, на карту—карту: домик. Да, Николай мечтал. Но мечты проверенные выходили из мастерской великолепного часовщика. Стихи читал каких-то диких (звали „футуристами"). Вскачь гласные: „Х" „Ц" и „Ч" быстро—искрами из под копыт. Голое слово—„смехач" И сразу—пьян—вытаскивал из под тетрадок какой-то прейскурант, турбины, мотор, колесо, три тысячи лошадиных, такая—когда идет, разрез, и в Ливерпуле—Галилея безошибочных чудес. Нью-Иорский небоскреб?—Щенок! Лавочников лихорадит—нарыв. Нет, будет город—плоский, голый, весь единый дом, весь вымерен, отлит, составлен, без труб, без башен—серый куб, над кубом—солнце.

Были какие-то намеки, гомункулусы в банках: Петр с ножницами цирульника (почти что маникюр), „неподкупный Максимилиан" („Невольница" Шенье, чувствительная прихоть толстяка Дантона—все это вздор,—тверже: кровь и календарь). Теперь придут другие—выдержали сотни корректур—не прошмыгнут описки школьников: любовь или

Digitized by Google

сомнения. Как о любимой, говорил о времени. Верная мера—Век.

Сергей подумал вслух:

— А что ж ты скажешь, так сказать, о человеке?..

Другому Николай просто бы ответил: „с народниками скучно спорить". Другу:

— Ведь это все про человека. Прежде было про зверье. Он будет—большой, широкий, дела, слова и даже повороты суставов—из'явления воли. Никаких истерик! Всех геройчиков Андреева и прочих—в зоологический музей. Вагон трамвая, принимая тонну человеков—и тот начнет петь, не нужно будет триолетов. Вместо озноба гнева и любви—неукоснительное равновесие. Сергей, я вижу этого большого человека. Новое сознание. Мне кажется, чтобы судьбу измерить, он себе на лоб поставит огромный третий глаз.

В упоеньи он подошел к Сергею—нет, не к нему—к модели „человека", и холодно, немного чопорно, поцеловал зерно, почку глаза, веснушчатый, бугрястый лоб. От теплой кожи сразу стало стыдно, скучно, тяжело.

Снова—время. Памятный весенний день. Общегородская конференция. За Канатчиковой дачей—в лесу. Патрули с одуванчиком в петлице. Пароль—спросить: „как пройти на рачью свадьбу?" Солнце припекало. В прения „об агитации среди запасных" бесцеремонно вмешивались славки, малиновки и даже нудная кукушка. Одуванчики не только в петлицах и в траве—их золото в самой груди. Вылезшие из подполья, из каморок на Живодерке, Козихинских подвалов, духоты Благуши, как звери из норы, нежились. Порой казалось действительно—не рачья ли свадьба? Николай сорвал цветок, пальцы покрылись молочным соком. Солнце меж лопаток усердствовало. Хотел было Лефортовского Виктора пристыдить за утопизм, но все аргументы забыл, зевнул стыдясь, потянулся.

Вдруг—свисток. Виктор подпрыгивает. Трещат кусты. Отнюдь не птичьи голоса. Делегаты врассыпную.

— „Провалились!"

— Направо!

— Нет, сюда!

Отсюда и оттуда—отовсюду, в кольце одно:

— Оцепили!

Digitized by Google

Николаю повезло: прополз бочком—в траве. Продефилировали рыжий сапог со шпорой, и синие штаны. Дополз до Татарского Кладбища. Залег меж плитами. Мимо гнали арестованных. Стадо. Овчарки с кобурами лаялись. Прождал до темноты.

В лавочке купил коробку папирос и жадно затянулся. Шел медленно по Шаболовке. Переживал провал. И все же, еще неутрамбованной утробой, радовался теплым сумеркам, чадным керосиновым светильням. скверной папиросе. Навстречу—Сергей, Курбов, увидев, бурно повеселел. Думал— и его.

— Ты тоже выкарабкался?

Молчит. Жмет руку. Улыбается. И потом не спеша—на Курбова—револьвер. Мигом подполз некий штатский в рыжем пальтишке с искрой электрик, другой. Потом—городовые. Сергей своим приятным задушевным баском:

— Прямо в охранное... Там за извозчика заплатят.

Мгновение—гнев. Кинуться, примять, убить. Потом—спокойно! В охранке, когда на утро фотографировали и вежливый фотограф извивался:

— Теперь анфас. Минуточку вниманья! Снимаю.

Вспомнил Сергея. Провокатор. Он знает многих в лицо. Сообщить на волю. И еще одна короткая деловая мысль: да, для людей, но только без человека.

12.

Суд. Адвокат по назначенью, разгрызая в буфете жесткую фанерную колбасу, выкладывал буфетчице:

— Какой попался подзащитный—злющий!..

Речь говорил мучительно—будто во рту все та же неподатливая колбаса:

— Влияние... Наследственность... Курбов почти дегенерат... Эксперты...

Прокурор был быстр и деловит (понравился Николаю). Судьи входили и уходили, как хористы в опере.

— „102-ая... Лишить всех прав"... „Каторжные работы.. без срока".

Digitized by Google

Опять централ. Кандалы. Натерли ногу. Из окон: снег, нагромождение эффектов, Урал. Месяцы и вечера. В острожном переплете—желтый, тощий месяц. Амурская колесная. Порка и кирка. На камне камень—бей! Какие там свершения!.. Где то: партия, книги, девушки в кисейных блузках, воркот голубей. Здесь: камень, кровь и вши. В наметанном зрачке конвойных—тупое: „не уйдешь“!

И все же ушел. Звезды августа кишели муравьиной кучей. Низкорослую бурятскую лошадку версты и сон погони—густо взмылили. Пучился Байкал.

В избе. Кислое голубенькое молоко. Течет по телу сон и брызжет в глаза молочной ночью, белесоватой, ватной мглой. Ночевал. Утром потянулся. Никого. Хозяйка за водой ушла. На земле младенец страшный, кривоногий с огромной тыквой головы—облезлая, струпья—не может ни ходить, ни говорить. Таких бы убивать! Глядит большущими стеклянными глазами на Николая. Вдруг, слюну пустив—блаженно улыбается. Лицо, как тайга весной, все проростает. И Николай от нежности не может шелохнуться. Сам улыбается, и с неиспытанной бережностью гладит паршивую головку. Темное хотенье—обнять, унести, не знать на свете ничего, кроме роста этих кривых убогих ног. Так верно черенок от яблони, когда воткнут его в сырую разрыхленную землю—чудный зуд—растущих и не листьев, но корней. Почему-то пред Николаем встала наивная, смешная—звали Таней. Как тогда—гора. Страх. Младенец палец Николая поймал, сосет. И как пощада: хозяйка с ведрами. Пора!

Готов был стать, ну, просто неким, со страстями, с перебоями, с ворчанием досадливым и нежным щебетом, „обыкновенным смертным“! Но—пересилил. В Казани на явку заявился сухой, осведомился, как ведут работу, о каторге ни слова. А девицы сердито перебирали:

—Хорош!

Потом по вкусу: Маша—„Еж“, а Саша—„Ерш“.

В апрельский день приехал в Киев. Паспорт верный—сын бухарского купца Лев Мешмет. Протянул его любовно, чуть горделиво швейцару гостиницы „Золотой якорь“, и швейцар с почтительностью дунул половому:

— Господину Мешмету номерок.

Взглянул в окошко: первенствовало солнце, мальчишка,

Digitized by Google

аскрыв галченком рот, с трудом засовывал туда огромный ком халвы. Прошли две гимназистки, вспыхивали первые веснушки—золотая россыпь. И груди, полные видением прекрасного поручика с Фундуклеевской, как клейкие почки тополей, готовились взорвать форменные передники. Вдобавок имелись: голубые царственные лужи, в них воробьи, рябая радость отпускных, кудахтанье торговок, словом, несложная и всё же таинственная бутафория обыкновенного весеннего денька. Взглянув, тотчас же понял: завтра на явку, а сегодня отдыхать.

Бродил по улицам, по лакированным внезапным ливнем горбам костлявого Киева. На Сенном какой-то пегий мужичок стянул огромное индюшечье яйцо—мигом выдудил, и в пояснение:

— Мы до мощей, которые...

Баба за пегую мочалку.

Мимо Софийского собора. Зашел случайно: после смерти маменьки паперти усердно обходил. Дохнуло сыростью и воском. Чуть помутило. Погреб! Впрочем, летом верно вроде кваса. И детворе для пряток. Еще увидел: под куполом архистратиг. Летая—пребывает глыбой. Вымерен и крепко сделан. Подумал: ведь также делают теперь аэроплан, и рассмеялся. Бабка, „о недугующих" молясь, досадливо прошамкала свои старушьи „шу" и „ша", личико ее как яблоко, мигом спеклось, вся запросилась мощами в Лавру. Курбов вышел во двор. Чуть зеленело снизу, выше было сине и просторно. Девочка училась прыгать на одной ноге и, важная как цапля, взлетая к сини, падала на зеленый пух. Купил два яблока, одно дал цапельке, другое—себе, куснул—да дряблое какое—припомнил третье (под архистратигом) и окончательно веселый, скатился узкой уличкой, где пахло рассолом, а в открытых чайных халатники, восседая князьями, пили чай, вниз на Крещатик. Пролетки верещали. В киоске малый, раскошелясь, пил мелкими глоточками „фиалку", и, выпив, улыбнулся пустому донышку стакана. Продавали фиалки—первые недоуменные бутоны. Курбов купил, понюхал и зажмурился. Навстречу—девушка. Лица не прочитал, но, как заглавные, мелькнули расширенные, якобы незрячие, глаза. Николай остановился, оглянулся, снова: черные большие... С минуту оба постояли. Курбов

Digitized by Google

застыдился, быстро пошел вперед. Но даже стыд был тихим, девическим, апрельским.

Завечерело. Царский сад. Внизу скрипела скрипка и трамвай кометовым хвостом помазал небо над Печерском. Здесь же пахло землей после дождя—и только. Парочки, друг другу не мешая, чинно рассевшись, целовались, молча, деловито, взасос. Спугнутые шагом головы откидывались в мелкую листву, звенел жестяной недоконченный поцелуй. Николай порадовался, поволновался и вытянув руку, так, что мускул заплясал, крикнул, где-то в очень темной и пустой аллее:

— Здорово! Здо-ро-во!..

И весна, шарахнувшись, подтвердила вздохом, шорохом:

— Здорово!

Человек. Знакомое как будто... Не может быть!... Сергей! Стоят. Убьет? Сбежит? Но робко, скулящим лысым голоском, Сергей:

— Ты можешь меня ударить. Но только выслушай...

И дальше—слова: отравленного рвота, из горла—ключем. Много, очень много жалостливых животных слов:

— Ротмистр... грозил... виселица... хотелось жить... не понимал, что делал... невеста... Маша...

Да, да, конечно, Маша! И в темноте лицо трогательно распахивалось—как же на распашку! Голос, сначала сиплый барахтался среди закуток („попутал"), но после—ввысь, в купол Софийского, задушевный голос, такие прямо—в певчие) проникновенно скок—до Бога:

— Николай пойми—об этом писал когда-то Достоевский!.

Давно, свернув с аллеи, шли прямо вглубь кустов. У Курбова одно: он знает многих в лицо. Сергей снял фуражку, показал рукой—обрыв.

— Вот подвиг и подлость... Маша!...

Остановились. Внизу—Днепр. И оттуда пахнет сыростью, смертью. Склеп. Как Софийский собор. Сергей боязливо—презрит, уйдет—вцепился в руку Курбова. Вздохнул и вздох пронесся сзади по тоненькой, младенческой листве.

— Прости—ведь я... ведь я... ну просто слабый, гадкий человек.

„Многих в лицо". Курбов поднял руку,—мускул весело забился, вздулся,—обнял Сергея, готового доверчиво всплак-

Digitized by Google

нуть, обнял, рассчитав, легко и просто швырнул, как камень, в ночь, в пропад, в Днепр.

На Крещатике еще была весна и продавали фиалки. И верно проходило много девушек с глазами, готовыми остановить. Но Курбов ничего не видел. Нащупав вдруг в петлице размякший букетик, он брезгливо его кинул, ком мяса в студенческой тужурке.

13.

На фронт. Курбов—ратник Никита Птицын. Галиция. Мерзкое местечко. Пограничный столб повален, и на картинке двуглавый одноглавого клюет. Местечковый кислый хлебный сон.

С носилок:

— Сестрица, испить бы!..

В штабе:

— Понатужась, через Карпаты (у князя пламенное сердце).

— Князь, признайтесь, вы знаете толк в токайском?...

Князь кается—нет не в токайском, а в венгерках.

На перроне обрубленный живот—сам по себе живот и маленькая пенсия. Что же, можно через Карпаты, понатужась!..

Казак, играя на солнце одной серьгой,—еврею, бородатому начетчику:

— Целуй, собака, конский хвост!

Начетчик недаром читал, он знает—Иов скреб черепком, Иона—в китовом чреве. Разве можно против?.. Целует. И ассирийская густая борода вождя, судьи, пророка вливается в обшмыганный унылый хвост.

Николай (он же Птицын) слышит:

— Домой... Жена с пленным: сволочь—мадьяр,.. Сил нет никаких!.. Живьем в землю... Да нам, ведь, в Тулу.

Час спустя:

— Птицын, ступай в офицерское, доложи капитану.

Словили дезертира.

— А, ну, его разок! Наука...

В офицерском—сливянка. У сестрицы Аглаи Николаевны

Digitized by Google

удивительные пальцы—в Питере нет такой маникюрши.

— Распить сливянку! Сливянка-то какая!

— Знаменито!

— Аглая! Аглаичка сегодня злая!

— Знаменито!

— „Как на станции кассир,
Желтый храбрый кирасир".

Николай докладывает:

— Ваше благородье... дезертир...

От слов першит. Капитан Бакланов мчится быстро к двери. Тульский юлит, целует капитанский, до непогрешимости натертый сапог—все зря. Бакланов дело знает, любит; сам командует. От тульского—только лужа, законно красная. Но капитан, перехвалив сливянку, вдруг белеет, качается, раскатисто блюет. И тоже лужа, вторая. Николаю:

— Дурак. Ура.

Еще качается. Целованным сапогом—Николая трах. Оба вместе на-земь, в кровь, в блевотину, в местечковую проплеванную глину, а рядом „ура!" испуганных баранов, и глухо—пушки, и с крестиком нательным на „уру"—через Карпаты, в Тулу, к чорту—все равно!..

Николай, как упал с Баклановым, окаменел и камнем докатился до позиций.

Приказано не отступать. Зябко. Светает. Шинели торчат косматой шерстью. Вырывают снаряды—клок, еще... И сразу дохнуло: газ. Клочья виснут виновато, рядами падают.

— Противогазы!..

Нет—отсохшие какие-то... До Курбова дошло. Сначала пахло луком. Кололо булавками глаза. Чуть повозился, в землю уткнулся носом. И так хотелось одного—простейшего—вздохнуть! В глазах булавки сменились, раньше молоком, потом чернилами. Почувствовал: летит в темь, в пропад, в Днепр.

Очнулся в госпитале. Дело первое—вздохнуть во всю, со вкусом. Потом припомнил: шинели в ряд. И фельдшер пояснил:

— Да, да—на Стрые. Четыре тысячи.

Выжил. Остался только кашель, внезапный, как ураган.

Digitized by Google

Злобно колотился в груди и, взламывая клетку, вырывался таким громоподобным лаем, что досчатые перегородки лазарета перепуганно дрожали.

Как-то (на Масляной) услышал—доктор говорил с приезжим штатским.

— Как в Петрограде?

— Кисло... Обвиняют... В думской комиссии ужасный материал... снарядов не было... Мазурская история... И кто не брал?.. Вот вам примерчик: некто Глубоков поставил... Приняли заведомо негодные противогазы... Смазал, конечно...

Неделю спустя—легок на помине—не сам—сынок—пичугой впорхнул Олег. „Для раздачи подарков на фронте". Узнав Николая, нахохлился. Вдруг вспомнит? Встали: трехпроцентный выпиравший из брючного кармана, недораздетая Земфира и маленький скандальчик—бумагу тогда поручил продать кретину Клитову, Клитов сдуру при случае ляпнул Кадыку, Кадык же всем домашним и прочее. Конечно, это в прошлом. Теперь великая война, и он почти на фронте—герой. Но все же противно, если этот знает... Решил пощупать.

— Рара́ вас тогда обидел? Но вы, ведь, сами понимаете—бывают разные недоразумения—это прекрасная тема для какой-нибудь франпузской новеллы. Впрочем, кто былое помянет, тому... словом, когда бумага нашлась мы очень сожалели... Maman вас простила... В такие дни... Вот вы в каком-то маленьком местечке, раненый на койке, один из многих, тот витязь сермязный, о котором мы спорим в столицах. Вы ранены в бою?

— Нет. Газы.

— Ах, это германское злодейство! Вот вам цивилизация Кант и Крупп. Но теперь мы не боимся газов. Рара́ поставил огромную партию усовершенствованных...

— Я знаю.

— Прекрасные противогазы. Мы все работаем и бескорыстно. Мариетта была три месяца сестрой, а я, как видите, рискую жизнью. Привез махорку, монпансье, мыло.

В Николае—взрыв. Залаял. Стенки затряслись. Олег еще раз:

— Рара́ доказал необходимость проливов... Он трудится

Digitized by Google

день и ночь... Взял отпуск—в Кисловодске... Легкая одышка... Прекрасные противогазы.

И Николай средь лая:

— Что раньше: смазал или доказал?

Олег—сразу горд и тверд. Говорил—жалея. А этот байстрюк еще смеет оскорблять его! Повелительно накинув бровь:

— Молчать! Ты—низний чин. Возьми махорку и ступай.

Николай вышел во двор. Так никогда не ненавидел. Весь смолк, забелел, стянулся. Томительный денек слома. Озноб и первая испарина земли. Февральское недоумение. Слушал—в говорок далекий пушек вступало нежным противоречьем журчанье капель. И прижавшись к мокрому стволу, не выдержал железный Курбов: воркотня и грязь, четыре тысячи на Стрые копошились, каплей капал ласковый басок Олега. Крикнул:

— Не могу! Вот просто не могу!..

И точно смилостивясь над сыном битой потаскухи, над острожником в бегах, над Птицыным—над таким, над многими такими, измерив кровь и тщательно свесив пудовые обиды—далеко, на севере, где распластались среди болот сенат, посольства и гастроли итальянской оперы—Немезида заботливая пролила огонь. Курбов чашечкой сложил ладони, накрапывал весенний дождик.

(Министры разбегаются.

— Волынцы с нами!

— Бей... по загривку!

С моста. Мойки олово. И дикий вскрик городового:

— Я семейный)!..

Известно стало позже. В местечко, где гуд пушек, лазарет, курчавые, густые пейсы, вспугнутые ветром, мировой историей и „матерью“ есаула, медленно ползло, как насекомое, большое слово: „Бологое“.

Сначала не сообразили. Артиллеристы продолжали аккуратно подкатывать снаряды. „Мать“ есаула по прежнему летала над лужами, и пейс, боясь просчитать рубли за „пейсаховку“, крещенную „столовым вином“, взлетал за нею вслед. Но „Бологое“ осело и с мушиной быстротой начало плодиться. Появились: „комитет“, „обсудили“, „попили—

Digitized by Google

довольно", а главное, широкое, как „о" (рот с непривычки может лопнуть) „долой!"

Стояли ярославские. Другие—губу до полу и предварительно чесаться. Эти бойкачи. От „долоя" знобило местечковые мелкие домишки и даже двухэтажный, с купидоном, пана Пшешешевского. Пан, помянув покойного Юзефа и приятный Краков, крякнув разок, как прежде, не без благородства, сдался—засел в курятник (кур ярославцы с'ели, многое предусмотрев). Звяк графинов, где была воспетая Баклановым сливянка. Даже пушки поняли—таких не перекричишь—примолкли. На заре чуть вылезало солнце, и пан за петуха, спросонок ежась, бил крыльями о стенки, кто-нибудь немытый уже работал, и от зевотного широкого гудка раненые весело взлетали с коек.

Олег не убежал. Был мил необычайно. Скользил по глине, как по паркету „Благородного Собрания", от доктора до генерала, потом к солдатикам, то есть отныне к гражданам. Каждому не уставал победоносно улыбнуться:

— Каково? Вот я привез подарочек—с махоркой великую, бескровную...

Впрочем, подарки давно розданы. Теперь он помощник комиссара. Курбов-Птицын, среди бела дня став просто Курбовым, рвался в Петербург, но, не теряя времени, возился с ярославцами. Выбирал слова с'едобные, увесистые, как теплый, невыпеченный хлеб, чтобы распирали брюхо. Как-то Олег не вытерпел, попробовал „уговорить":

— Теперь помещик и землепашец во всем равны, то есть всем свобода совести и передвижения... Общее усилие... Надо наступать...

Курбов, зная—нужно не доводы нанизывать, но бередить печенку:

— Ваша правда! Так вы, товарищ, наступайте, а мы к себе, то есть в Ярославскую.

Сам подумал: ну и глупость! Боюсь, что этак до Христосика дойду. Ведь, если нам придется воевать—„свобода"?—в пять минут на сук. Мы их отучим лет на сто сомневаться. А потом? Потом... Потом должно было итти блаженство. Но додумать Курбов не успел. Помешал огромный рев. Зверинец—настеж. Ярославцы прежде сидели кругом. Теперь привстали. Олег—в середке. Сжимают. Рев, как лев, растет,

Digitized by Google

жирнеет, бьет хвостом и дышит в покрасневшие девические щечки Олега. Брюхи назад рыгают подсунутые Курбовым самогонистые крепкие слова—„а нам здесь дохнуть?“ „купчик“—вместе с присвистом слюны,—прямо в Олега. Присел на корточки и только; даже заслониться не успел. Курбов крикнул:

— Товарищи, постойте!.. Ну, зачем такого?...

Не слышат. Из середки еще доходит:

— Подарки?..

— А капуста гнилая!..

— Приварочные где?..

Кольцо распалось. Мякиш. Курбов подошел и с любопытством оглядел. Лица не стало. Одни ноги—тоненькие, раскинутые в недоуменьи—вот только что скользили... Неприятно! Почувствовал, как мокрая давленина растет и облепляет. Ведь, это только первый. Тысячи. Нет, больше! Придется влезть по шею в такую мразь. Не убивать в бою—палачествовать. Смятен. Вот, вот заплачет... Но сразу—четыре тысячи, противогазы, изба в Сибири с тыквой-головой. Да, в скверноту, в густую, липкую трясину, убивать безвинных, розовых, с родинкой, с какой-нибудь зацелованной карточкой на сердце! Один, сто, класс, партия, полмира—не щадить.

И когда какой-то, деловито бывший, не менее деловито смекнул:

— Сапоги какие!..

Курбов по хозяйски:

— А ты сними. Не пропадать.

14.

Смольный. У входа, ручной легавой—пулемет. И фронтовик: отсыпается с громовым храпом за три окопных года. Запах логова, в котором говорят, потеют, хлебают наспех щи, и здесь же между двумя голосованиями дрыхнут,—марксисты с rue Glacière, техасские ковбои, замлевшая еще Калуга. В корридорах, где, обнявшись, порхали пелеринки „милочка, какой четвертый?“ — „в дортуаре...“ — „княжна

Digitized by Google

влюбилась!", где царствовали Чарская и голубой гусар—косоворотки, гимнастерки, юбки, закрученые узлом. Стриженые меньшевички, нарцисс эс-эр, глядящий вместо вод в слезящиеся очи бывших собинисток, матросы, кидающие врозь раструбы, как в качку, рабочие, прислуга за все Паша (по поводу расчета). Скачут, машут руками, каждый в углу готов, для приличья отряхнувшись, стать министерством.

Пулемет у входа склонен залаять. Нарцисс упрашивает фронтовика час-другой итти на фронт—на то он фронтовик. Но бородач пребывает при особом. Очухавшись, потягивается. Может, конечно, проголосовать, а может—кто их знает?.. (Россия непарламентская страна)—рыжим сапожищем примять нарцисс, как будто он не гордость партийной клумбы, а так, какой-нибудь старорежимный клоп.

Комната в глуби. Дощечка: „классная дама" и приписка мелом: „фракция большевиков". Выходит прямой, упрямый Курбов. Он готов. Готов, как классная дама, заскрипеть: „довольно". Рабочим—винтовки, матросов к орудиям, меньшевичек-стрижек ближе, в Смольный, за машинки, переписывать приказы. А Нарцисса?.. Увы, Нарцисса придется засушить. Осмотрел Россию. Она, ощерясь, подымается, подходит, обступает кругом, как ярославцы Олега, кирпичный дом, где дюжина невыспавшихся нытиков (в голове Лавров, под ложечкой просто ком), старается за хвост поймать „текущие моменты". Пора за дело! Дверь закрылась. Фракция расселась. Фронтовик у входа доволен, ласково треплет сердечный пулемет.

К октябрю Курбов был в Москве. Громадина—корабль, при отчаянном взрыве спекулянтского шампанского в „Эрмитаж-Оливье", при прочих взрывах был спущен. Сначала не сообразили. На Мясницкой не дрогнул хвост—калоши „Треугольник". Потом не стало ни людей, ни калош.

Только где-то на балкончике бутон нарцисса, один из нарциссят вопил:

— Всеобщее, прямое! Манечка, зачем они стреляют?..

Но Манечка не отвечала: наспех прятала среди грязных панталон массивные серебряные канделябры (светоч Прометея) и прочее помельче. Муж не кто-нибудь—социалист, он двадцать лет состоял подписчиком „Русского Богатства",

Digitized by Google

в столовой под ковром бухарским чуял „дух земли“ — ему и светоч в руки.

Привстав, пошли: Кожевники, Хамовники, Лефортово, Разгуляй, Пресня, Дорогомилово, Благуша, Марьина Роща, Симонова Слобода и прочие. Внутри притихло. Последний маклер на Ильинке, акции выпустив, как птичку в Благовещенье, сам провалился. На Поварской в любом особнячке отпаивали гелиотроповых графинь. Пытались выползти на сцену валерьяновые капли. Под'езды наглухо,—щиты, доски, боченок, и обязательно нахохленный студентик героически дежурит, охраняя тетушку, комод, честь. Дрожат шестиэтажные (модерн, лифт и в кухне газ) разденут догола—кто там? Ночь, дождь, один промокший юнкер, большевики.

Кольцо сжималось. Разгуляй, залаяв, вонзился в самый пуп, где Мюр и Мерилиз. Курбов с батареей на Воробьевых. Кто-то:

— Ведь, Кремль... История...

— Товарищ, не теряйте времени!..

Потом с разведкой на Волхонку.

— Здорово!

Тагин. Руку наспех. У белых — пулемет. Тагин праздничный. Шесть дней не спал. Но нет ни сна, ни дум, ни слов—одно: рябой, курносый мастеровой — статуя Победы (слепа, глуха) и бьются, среди запертых лавченок, где спрятанный мадеполам, изюм и толченное пулями стекло, чудовищные крылья.

Присвист. Тагин, вскрикнув, — на спину... В живот!.. Шепчет:

— Маузер мой возьмите...

Губы в мыле.

Плачут за щитами. Последний „ух“. И сдача. Курбов в автомобиле—по городу. Прилипшие к окнам и белые и красные носы. В каком-то переулочке Плющихи—бабка. К сухой груди подносит грязную тряпицу:

— Под Успенье молочка откушала... Беспутница!..

Тряпица—трупик—не внучек—Иисусик. Рехнулась.

И вдруг, как в богадельню, в нудный переулок входит топот. Рабочие—к районному совету. Вышли — сжигавшие под праздник крыс, от харчевых, харчевен, чайных, от потной люботы на нарах и палатях, от карт просаленных, от

Digitized by Google

всех святителей, снетков, чумного рая—наверх: шаг, рычаг, иначе, так (по старому) нельзя. Кровь из гулких рук переплеснулась на полотнища.

Курбов выскочил, бегом навстречу. Теперь он знает, как радость тяжела! Пред ним в картузах живые, теплые, из мяса—разметки, чертежи—всё бывшее годами полями книжек—предвиденная жизнь.

Он, как роженица, блаженно в изнеможеньи улыбается: теперь ни мякиша Олега, ни Стрыя — голубой легчайший разум, высокое морозное добро. Теперь... не в силах думать. Обнимает чумазого, колючего, и с нежностью неслыханной, со всею отрешенностью материнства целует—сына. Щеки колются, картошкой—нос. Ну, как же отпустить кусочек мира, клочек бумажки, сбывшийся сон?..

Была минута, (может, больше — сердце медленно вело свой особый счет), когда Курбов, согнувшись, забыл о прежней ненависти, как в избе сибирской над уродцем, изошел любовью: не человек, но тишина и нежность.

Была минута. После—дни и месяцы. Сразу Курбов почувствовал, что значит власть. Все эти угодники, подвижники, бессребренники, совсем случайно не сопричисленные к лику: журналисты, адвокаты, розовые девушки (вот только что из ванны), очкастые студенты, которые глазами выдыхают возмущение так, что потеют стеклышки, словом, „соль“,— встречая Николая с шопотом, с шушуканьем, поспешно расступались. Как-то Николай увидел, на Страстном шли двое. Нежнейший юноша, вчерашний земгусар, познавший тайну и переход от шлейфа небесного Прекрасной Дамы к запечатанному захватчиками сейфу, буркнул спутнице:

— Осторожно!

Она бела от снега и от бед, бела и зла;

— Палач!

Как от удара, Курбов заслонился. Глядит — знакомый росчерк губ. Ах, вот чьи!.. Лет пять тому назад они выписывали Кадыку символистические лилии, и растроганный Кадык в ответ выписывал чек (на изумрудное колье). Николай отряхнулся, скидывая с плеч снежинки и пустую слабость:

— Да, мы не институтки!

И это было так же буднично и просто, как где-нибудь,

Digitized by Google

в еще доисторическом Смольном, среди Чарской и гусаров.

— „Да, мы не палачи".

Страшней другая встреча: поехал на Глубоковскую фабрику. Стоят машины — ни угля, ни сырья. И кому теперь нужны обои?.. Ворчащим ларом с нар опустелых выполз Сергеич—журить: вот там пайка не выдают, там отобрали у Пелагеи швейную машину, там подкупили приказчика—тянут из лавки сахар, долго, час, другой. Ошибки, промахи, проступки громоздились—гляди уж преступленье. Что Николаю—в ответ? Одно: вот скоро управимся, наладим... И усмехается Сергеич: знает это кругленькое „скоро"—не подцепишь, прежде пахло ладаном, теперь со всех заборов несет печатной краской. Погладил Николая по жесткой (щипцы, пилы, сверла), по комиссарской руке:

— Говорил я ничего из этого не выйдет...

Руку вырвал (ею хватать, кромсать, подписывать — пилы скрежещут, визжат буравы, смех свирепеет). Встал и перерезал всё, скрипя:

— Расследую. Прощай.

Понял: не только против Глубоковых, но против этих, может быть—дух захватывало—против всех.

Фронт: Волга, степь Кубани, архангельская топь. Курбов дважды ранен. Три тифа — всех пород. Узнать-ли тихого марксиста в этом кирпичном шаре под кожаным рогатым шлемом? Герой Майн-Рида или наполеоновский гвардеец. Компас. Глоток воды. Отрезать отступление. Перехватить обоз. Фураж.

Гибли молодые Тагины—улыбчивые коммунисты из рабочих, узнавшие одновременно и азбуку, и мировую революцию. Гибли степенные крестьяне, честно, без обмана поделившие помещичьих коров и очень опасавшиеся воскресенья из мертвых станового. Гибли разбойники и дезертиры (дуло в затылок, чтобы шли).

Курбов—погоня. Один предел „скинуть в море"—видит вечер, шопоток листвы, чувствительного потного Сергея и Днепр.

Стал еще прямее, суше. Зрачек сгустился, потемнел и перестал искать. Наоборот, как-бы стремился избавиться, увильнуть, прорваться к голой беленой стенке, к небу, к чему-нибудь, где пусто и светло.

Digitized by Google

Под Черниговом белые поймали мальчика из Комсомола—шестнадцать лет. Били шомполами. Живому пригвоздили ко лбу звезду с фуражки, подняли на шест („виси, звездатый, красных дожидайся“).

Курбов прискакал. Глаза сначала поверх и мимо: яркое и неуютное тряпье осеннего заката, в небе птичьи чертежи, рябина. Потом увидел: висит, на лбу звезда, на шее ремешок. Вплотную—лошадь билась. Пальцы комсомольца, запятнанные чернилами, напоминали: тетрадка с отогнутыми полями, пенал, ученическая прокламация. Курбов крикнул громко, никому, сильнее сжав поводья:

— Хорошо! О-чень хо-ро-шо!

В тот же вечер словили белого. Молоденький. Чем-то так напоминал комсомольца, что Николай машинально глядел на руки—нет-ли чернильных пятен? Вели его. Храбро втягивал губы. Сорвал на ходу ягоду рябины и—в рот. Вспомнил дачу в Конюшках перед от'ездом, когда пестреют астры, бьется парусина, возы, экзамены и мама. Мама! Не выдержал—упал. Просит Курбова: всё вместе—гимназия, сестренка торгует спичками, страшно умереть, шестнадцатого сентября—день рождения, ради Бога!.. Курбов, даже не отвернувшись, густыми темными зрачками глядя на белую рубашку (шинель содрали)—пусто и светло—голосом отметил:

— К стенке.

На небе красное тряпье. Здесь, вместо дисков, бессмысленная кровь и гадкая густая духота.

15.

После тот же фронт: тысячи заседаний, одних отметок, когда и где — версты. На пустых заводах. В залитых шахтах Донбасса. Субботники: брошюрочными ручками подталкивать вагоны; промерзшее железо жжется. Дискуссия. Хрипота, отчаянье, стакан воды, в стакане „гибнущая революция“. Сразу вместо революции и резолюции — лай телефона, тоже осипшего: „тревожно... партийная мобилизация“ Билет Р. К. П. № 32618. Снова с винтовкой. Промозгло. Пудовый шаг. Под утро сводка и морковный чай в нетоп-

Digitized by Google

ленном районном клубе, где пахнет участком, мышами, шинельной дисциплиной. Только отхлебнул—уже ждут: комиссия. Финансы. Транспорт. И в глазах рябит, как куст рябины, как небесное тряпье: диаграммы.

В барские гостинные вслед за бородой Маркса и махоркой втерлись „разверстка", „трудфронт", „рабкрин". Теперь у Курбова не компас—портфель, безусловно стельный, похожий на мешок хозяйки с провизией: кому штык, кому трактор, „контрам"—плакать. Давно уже нет людей. Остались цифры, беспокойные, требующие тщательного ухода. Их обуть, насытить калориями, просветить, ввести в обетованный парадиз, приснившийся когда-то (число к числу приходит в гости). Считал, даже засыпая, еще нырял в глубокие прохладные нули. Глотая наспех ершастый хлеб, давился не усищем—какой-нибудь просчитанной семеркой. Был рьян и праведен, когда, вступая в клубы дыма, где страсти, подвохи, обходы, выравнивал сердца в колонны цифр:

— Необходим единый план.

Потом отчаянье: ну я, еще две сотни на верхушках. Из рабочих лучшие погибли. Крестьяне, сопя и чавкая, почесывая пуп, ждут—привстать. Теперь в кольце не Олег, не Зимний—мы. Да что крестьяне! Партия - почти что тесто. Взошло, ползет, вот—вот за миллион зайдет, как рубль,—хапуны сюда, юлы, коты. Пожалуй, Власов нынче коммунист! Старые, свои, и те поддались: в креслах принимая, рявкают по генеральски, плюс братья и сватья, плюс страсть к изящному, до балерин включительно, плюс... (Так по привычке считал партийные прорехи, как „пробки" или „незасеянную площадь").

Прежних встретил. Глеб, когда-то ходивший на собрания, как в департамент, теперь торжественно и веско водрузил свое революционное седалище на кресло главка. Уже в передней пахло сановной скукой. Знал все пайки: „трамотский", „богдановский" и даже „милицейский". Пользовался лошадьми, и кучер (Захар), несмотря на кризис, в грудях не поддался, в окриках же был стилизатором: не то „поди!", не то „пади!", но так, что все неответственные—регистраторши, нештатные инструктора и прочие готовы были тотчас же и пойти и пасть. Пять минут пятого товарищ Глеб. загребая

Digitized by Google

разные пайки под полость, отбывал, при чем мурлыкал грозно в кучерскую спину:

— „И решительный бой“...

Тимофей после изгнания меньшевиков закис. Без дискуссий дня не мог прожить. Война, блокада, голод—все равно—он об одном: взять партию, нашинковать, чтобы было много-много фракций, и после фракция на фракцию...

Шел 20-ый, третий, тягчайший год. Курбов, ослабев до пчелиного гуда в ногах, до полегчания (еще немного—полетит), работал, не Курбов с биографией—икс с портфелем. Пока пришло „событие“—пустяшное, из мелкой хроники, но много ль надо человеку?... Шел по Моховой. Увязалась девочка:

— Подайте!...

Дал бумажку—не берет: „хлеба.“ Долго среди зимней чумной тишины бился голосок. Потом—в снег. Ноги в огромных солдатских сапожищах попорхали. Слюна. Хрип. И всё. Николай—над ней. У самого такой же хрип, топорщась, прыгал в горле. Лезло из какого-то доклада: „задержка грузов... банды... транспорт... в Москве не выдавать до 21-го числа“.. Потом в доклад пролез осипший Сергеич: „просыпься“.

Дрожал. Снял драное пальтишко—тряпье ударило в нос уксусной кислой нищетой—зачем-то отогреть пытался, отчаянно, как паровоз, дышал на лобик. В отчаяньи искал тропинки от числа до этих невыносимо выпиравших ребер. Не отыскал. Но только долго (милицейский давно уже уволок на салазках трупик) стоял сутулый, давший крен.

Потом пошел и сразу—на знакомое пенснэ: меньшевик. Приятелями были. Пенснэ не медля:

— Что же! Хлеба нет?... А у крестьян всё отбирают... Уже в Тамбовской начинается... Мы, ведь, предупреждали... Народное хозяйство расстроено...

И выложив, блестит стекляшками: посмотрим, что он возразит? Ведь, это ж правда!... Но Курбов молчит. Весь—ненависть.

— Уходите! Не то я вас сейчас же застрелю.,.

Пенснэ—бегом. Поскользнулось, разбилось. И Николай неправдоподобно, как трагик провинции, захохотал. Ха! ха! Быть может, он и прав. А, впрочем! Говорят—социалисты! И вот теперь на этой улице, где только что—ребра и салаз-

Digitized by Google

ки—злорадство. Нет, не слова—чудовищный всемирный пулемет. (Собрать, ну, скажем, на конгресс, выстроить рядами, и в полчаса всех, ликвидировать).

Дальше! Но пенснэ всё лезло и дразнило разбитым стеклышком, из темноты. К нему присоединились: седалище Глеба, шейка Мариетты и даже кряхтящий Сергеич. Мешают. Облипают потными тушами, смехом, ропотом, икотой. Ненависть, поклокотав, ушла, морозным дымком. Стал, как всегда, прикидывать. Всю ночь нырял: из сугроба в сугроб. Под утро, вспомнив, вычислив, где-то на Садовой (никого, только хрипящая собака, околевая, рыла мордой снег), сам себе заботливо, как врач, сказал рецепт. Необходим усиленный террор. Шапку—на лицо, руки—в рукава. Двигался по всем Садовым, не человек, но танк.

И днем, когда в Цека секретарь тупил перо, когда брезгливый Ялич, увиливая, рвался в Наркомпрод, Курбов, тоску вчерашнюю откинув, пошел туда, куда его вели любовь к числу и дикий подвиг—„в презренную чеку!“

16.

Можно взять простого человека, курносого ветеринара, который кормит слюнявых племянников шепталой, добряка, мечтателя и ротозея, подклеить к носу закорючку, подмазать, обработать—и в полчаса готов злодей. Племянничек посмотрит—навек забудет о шептале. Взяли дом. Обыкновенный. В номерах жильцы. Немцы - коммивояжеры; молодожены из грустных захолустий — поглядеть Омона и „Трех Сестер“; орловский помещик без „Сестер“, один Омон; и прочие. В подвалах удельное. На черных лестницах котята и кухаркины ребята содружно пачкали, так что дух захватывало, а среди двора шарманщик проклинал разлуку, и, предвидя гнев дворника, наспех подбирал пятак заспавшихся молодоженов. Словом дом. Взяли и сделали такую жуть, что пешеход, подрагивая даже в летний зной, старательно—сторонкой. Ночью растолкать кого-нибудь и брякнуть „Лубянка“ — взглянет на босые ноги, со всем простится, молодой здоровый—бык—заплачет как мальченок. Волчьи головни автомо-

Digitized by Google

биля, меховые куртки, дрожь председателя домкома „собирайтесь... гражданин...“ и надо всем:

— Лубянка!

Взяли дом и стал он мифом. Лестницы, как будто их придумал Пиранези: тридцать три заледеневшие ступеньки, дуло, вверх—решетка, вниз – подвал. Там духота, темнота, икота. Скользко. Табун автомобилей храпящих, ржущих, мяукающих, вздыхающих отчетливо, раздельно, как баба на палатях. Войти и выйти—легче умереть. Заставы. Заграды. Здесь—штык. Там—смрадная параша. Направо—пролежанный диван. Налево—смерть, Во дворе проходы, переходы, тупики. С лестницы на лестницу. Чем дальше, тем страшнее. Одна ступенька—и забудь, что на Лубянской площади оттепель, призывной с гармошкой, ребята, устроившие в заколоченных ларях хижины индейцев, что там, за пропуском, штыком, за некой дверью—смех и жизнь.

Впрочем, Курбов не испугался, не заблудился, не грезил о винтах Пиранези—вошел спокойно, как в любое учреждение. На площадке поискал дощечку (некогда „массаж Цилипкис“)—„оперативно-секретный под'отдел“.

Войдя, увидел комнату, обычную, советскую, обсиженную, обкуренную—канцелярия. Был в этом некий быт, почти уют: схема девяти отделов цветными карандашами, портреты (и в „секретном“ чуть-чуть насмешливо лоснилось знакомое лицо наркома, любящего муз), две машинки Ундервуд и Ремингтон, на большом столе домашние лепешки, пролитые красные чернила, (совсем „оперативные“) рубашки „дел“, зачитанная книжка—Кнут Гамсун „Виктория“. Над „Викторией“ Людмила. Между двумя бумагами о применении „высшей меры“, она, то-есть барышня с машинкой, то-есть Людмила Афанасьевна Белорыбова читает, как Виктория любила, и томно ноет белорыбовское медлительное сердце. Бела, мучниста,—вареная картошка. Булку приготовили, испечь же позабыли. Глядит—глаза, как студень. Бровей, ресниц и прочих отступлений нет. Лицо, как таковое. Под блузкой, что, еще крепясь, скрепляет нечто, лишь поскрипывая, при неожиданном повороте, ясно утверждается, такое же тело. Чрезвычайно флегматична, хоть двадцать четыре года, любви еще не знала, если не считать сочинений Кнута Гамсуна и прочих, имевшихся в библиотеке на Петровских

Digitized by Google

линиях. Правда, замзав товарищ Андерматов как-то, упав в эти рыхлые и тряские просторы, лишил Белорыбову внешних атрибутов девственности, вознаградив ее за это хорошим тихим местом в чеке. Но, пренебрегая видимостью, можно смело назвать Людмилу Афанасьевну девой. Андерматова не оттолкнув по прирожденной флегме, она восприняла минуты страсти, как небольшую неприятность, как гимназисткой уроки гимнастики и впоследствии девицей—танцы. Ничего подобного Виктории и прочим ветреным особам, от взгляда теряющим голову, Белорыбова не испытала, быть может, не пришел один, особый, способный поймать в сети Белорыбовское сердце, быть может, Белорыбовы, как рыбы, не знали человеческих страстей. Зато она очень любила сон, тепло и бутерброды с чайной колбасой (конечно, еще вкуснее с языковой, но времена не те). Поэтому инциденту с Андерматовым обрадовалась: кстати. До тех пор Людмила жила с мамашей.

Прежде у мамаши была пенсия, и Милочка могла спать в натопленной до задыхания комнате хоть целый день. Просыпаясь, осторожно выдвигала из-под сложной слойки одеял белый, жирный локоть, подбирала роман и бутерброд, медленно читала и жевала, снова вдвигала локоть, засыпала. Была прекрасна жизнь! После революции все изменилось: исчезли бутерброды, выдвинутый локоть в морозной комнате мгновенно синел, мамаша, промышляя продажей былых великолепий, дошла до милой Милы, до ее кроватки, так что из слойки шести стеганных осталось одно, почти ажурное. Всё изменилось, только жизнь в каких-то книгах оставалась неизменной, и Людмила немало завидовала всяческим Викториям. Приходилось чистить картошку, ходить на Зацепу, колоть лучины, словом музейную недвижность белых рук отдавать золе, морозу, занозам и прочим напастям. Мамаша невыносимой стала: каждую минуту плакала. Густолиловый нос на сморщившемся личике раздражал Людмилу:

—Милочка, да как же это все случилось?... Всю Зацепу обегала, нет молока. Попалась баба—двести кружка. Я ей: да что ты! креста нет!.. А она как раскричится: тебе уж подыхать, а ты за молочком, туда же, ты лучше сучьи сиски пососи! Какое грубое пошло простонародье! А на обед опять пшено. Ну, что мы будем делать?...

Digitized by Google

Лиловый нос—капля дрожит, и прямо на Людмилу. Разлучаясь с быком Бласко Ибаньеса, лениво:

—А вам бы, право, уже время умереть.

Андерматов краток был. По случаю холода даже не снял меховой куртки, так что Людмилу все время целовали клочья шерсти. Нахлобучив шапку:

—Служба будет. Приходите завтра. Паек хороший; например, три фунта масла (и благодарный за неожиданный дар—невинность, почти любовно) не растительного—коровьего.

Людмила улыбнулась—три фунта масла, распластавшись, сияли огромным бутербродом. Явилась точно, села за машинку, неумело, одним пальцем, и то распухшим от мороза, задолбила: „слушали", „постановили". Получив паек—пять фунтов баранины, пришла горда. Дверь—триумфальной аркой. Мамаша вздыхала:

—Куда пошла!... В чеку!... Да там китайцы—под ногти гвозди, Господи спаси!...

Но, вздыхая, острыми как гвозди пальцами, вонзалась в мерзлое фиолетовое мясо, проверяя добротность. Впрочем, поесть ей всласть не удалось: оказалось много костей. Людмила задумчиво переживала и пережевывала вкусные кусочки. Мамаша, стоя сзади, задыхалась: надежда—оставит, всего не одолеет, ужас—еще берет, вот этот, направо, жирненький...

А недели две спустя мечтательная секретарша переехала в особняк бывший князей Дудуковых, на Поварской. В зале—каток. В гостиной—красномордый, как дуб, торчит „заведующий хозяйственной частью"... чего—неизвестно, главное торчит, не выкорчевать. Людмила Афанасьевна обосновалась в будуаре. Поставила печурку. Дров не жалеет. Может вечером свободно, высовывая голый локоть, дочитывать роман: и так они любя страдали...

Днем же на посту. Переписывает бойко—научилась. Пожалуй—символ. Прохожим мнится Пиранези, инквизитор, словом, опера. Здесь же учреждение. С десяти до четырех. Разносят чай. Бывают выдачи: гильзы, гуталин и даже куры (к праздникам). Стучит исправно. Ремингтон. Которых расстрелять. Через синюю бумагу с копией (в архив). Двадцать четыре. Какое имя чудно́е, верно армя́нин. А это длин-

Digitized by Google

ное—придется перенести. Всех к расстрелу. Бумага переписана. Пауза. Автомобили, нетерпеливо пофыркивая, дрожат. На столике „Виктория“: „он шел к Камилле“... Так страдали! Так любили!..

—Товарищ Белорыбова, сегодня выдают дрожжи и билеты в цирк.

Шмыготня. Кто-то торкнулся, за дверью кашлянул:

—Перепишите: слушали—постановили к высшей мере...

Это кашлял Аш—заведующий под'отделом. Круглое лицо с редкими, уходящими спиралью, волосиками на разных несвойственных местах: под правым глазом, в ушах и даже на носу. Глаза—не на Людмилу, вдаль, небесные, светлейшие глаза, такие только у щенят бывают—кто-то капнул две капли снятого молока. Не смотрят: Аш людей не замечает. Где-то в голубоватом молочном мороке далеких дней маячат просаленный капот в горошек и руки, пахнущие луком: мать Аша была исправной хозяйкой. Аш не часто,—раз в год или в два—с конфузом вспоминает: его когда-то звали Сашей. Странные бывают в жизни положения! За сим пустоты: изредка пенснэ, бакен следователя, морозный дым Сибири, отлетевшая пуговица, сломанный карандаш, выбитый зуб—жалкие случайные приметы. Вновь капот, но чистый и в полоску: жена. Как случилось—неясно. Он не успел продумать, пришла часов в шесть, помешала, глядел растерянно и ждал. Но не ушла. Осталась. А утром вытащила из корзинки капот в полоску, стала достоверным фактом, раз и навсегда.

Аш не с ними живет, не с бакеном, не с дымом и не с той, что факт в полоску—с идеями. Их много. Были толстые („прибавочная стоимость“), потные, росли и угрожали. „Классовое самосознание“—стройна, черна—лань—как в такую не влюбиться? Были и домашние („централизация организации“), пахли уютом, осенней, яблочной, медовой тишиной. Знал, окликал по имени. Встречи, размолвки, примирения. Каторжанином, таская тележку, боролся не с конвойными, не с пудовым холодом, не с камнем, с одной залетной, кокетливой и явно непригодной в таком хорошем домоводстве, звали „эмпириокритицизм“, а каторга, как оторвавшаяся пуговица брюк, слегка мешала.

Попав в чеку, товарищ Аш наставил свои голубоватые

Digitized by Google

глаза на некое обширное постановление. Вскоре из параграфов отчетливо проступили дивные черты: суровое надбровие, покатый лоб, в глазах унылый одичалый восторг. Аш, очарованный, прошамкал: „массовый террор“, и в молочных каплях на минуту занялась радость, как в предрассветном облаке.

Затем оглядел стол: стопочка бумаги, большие ножницы и красные чернила. Взял ножницы, стал бумагу резать: чик-чирик. При этом думал: вот так и контр-революцию! Целый лист изрезав, сам себя словил на порче государственного имущества:

—За это и меня не мешает... чик-чирик...

Для образности поднес ножницы к шее, при чем один длиннущий и совершенно ничем необоснованный волос, проставший нагло на кадыке, свалился, все же ножницы полюбились Ашу: допрашивая, он как парикмахер, стрекотал. Когда же Андерматов подносил бумагу на подпись и Аш читал, что надо из'ять неких смеющих „не только не понимать хода истории, но и вставлять в колеса палки“, прежде чем напоить перо красным пойлом, он подымал вверх ножницы и чик-чирикал. Чувствовал: „падает голова буржуазии, кровожадно подавившей июльскую революцию, Парижскую Коммуну, затеявшей мировую бойню и прочее“. Так ясно чувствовал, что щенячьими слепыми глазенками залезал под стол, не там ли она? Но под столом валялись лишь тонкие полоски изрезанной бумаги.

Аш себя во всем урезывал. Пожалуй, листок, другой изрезанной бумаги—одинственная роскошь. Пайков не брал. Ел черный хлеб. Чай пил без сахара. Когда случайно замечал на блюдце беленький кусочек, или на краюхе хлеба, подкинутый тихонько Людмилой от служебного усердия, ломтик колбасы, негодовал: „При настоящем положении республики, в кольце блокады такие непроизводительные траты! Усиленное питание необходимо занимающимся физическим трудом“, Звал курьершу, товарища Анфису, столь монументальную, что когда она на цыпочках вступала в кабинет, происходило сотрясение, протягивал ей бутерброд, и отложенные тщательно в правый ящик стола кусочки сахара:

Digitized by Google

—Возьмите, товарищ, при ваших трудовых обязанностях вам необходимо усиленное питание.

Сам Аш ел мясо дважды в год: первого мая и в годовщину октябрьской революции. Раз, вернувшись домой не во время, часам к пяти (перенесли заседание на одиннадцать вечера), Аш застал нечто ужасное; факт в полоску, то-есть жена, спокойно разлегшись на реквизированной софе, жевала белый хлеб с вареньем. Конечно, Аш мог бы не заметить преступления, (так однажды он вошел—капот в полоску был распахнут и в его глубинах ютился какой-то усатый курсант, но, переживая интриги военспецов, Аш даже не взглянул на потревоженную парочку). Теперь же белизна давно невиданная каравая ударила в небесные глаза. Остановился, задумался, и взяв со столика кривые крохотные ножницы жены для маникюра, приступил к допросу:

—Откуда?

—На Сухаревке...

Аш молча вышел. Ночью он принес со службы нечто длинное, завернутое в „Известия". Жена спала. Разбудил.

—Если я еще раз обнаружу купленные у спекулянтов продукты, прибегну к высшей мере наказания.

И вынул из „Известий", перед сонной, обалдевшей от ужаса супругой, огромный дуэльный пистолет, взятый при обыске и завалявшийся в кабинете Аша, как ни на что негодный.

Таков был заведующий подотделом. Обыватели шептались: к нему попасть—крышка. Сам расстреливает и пытает. Английской булавкой ковыряет мозги. Знавшие Аша, наоборот, утверждали: добрейший человек, мухи не обидит. (Последняя деталь вполне точна: однажды Аш в Женеве прокорпел полдня, снимая с липкого мушиного листа, подложенного жестокой домовитой женой, погибавших мух). Но никто не знал, что в кабинете Аша жила высокая смуглянка, дикая идея, имевшая глаза и губы, по имени „массовый терорр".

Товарищ Андерматов диктовал. Товарищ Белорыбова отстукивала. Аш читал и на минуту встречались две пары глаз: черные летучие—идеи, щенячьи чистенькие—Ашовы. Потом курьерша, товарищ Анфиса, подымая топотом весь страшный дом, несла бумагу по проходам, закоулкам. И,

Digitized by Google

предчувствуя бег, нетерпеливо ржали разгоряченные автомобили.

Диктовал и составлял товарищ Андерматов. Другая порода: голова засеяна, ногти тщательно возделаны, галстук артистически небрежен, и всё на месте—не отдельные волосики, например, а коллектив—прекрасные усы, под руководством наусников. Глаза, как темные черешни, обещают сладость (только косточка горька). Красавец! Нужно воистину белорыбовское сердце, чтобы, познав как он, похожий на арабского коня, целуя фыркает и в ход пускает даже зубы, вернуться равнодушно к бутербродам. Другие, брошенные им, кидались из окон, глотали толченые спички, или на зло выходили замуж за добродетельных старых уродов. Узнав об этих эпизодах, Андерматов только улыбался, правда трагически.

Был трагичен с нежных лет. В миг рождения сразу причинил большую неприятность матушке, тишайшей супруге дантиста: пошел ногами. Сам от подобнаго пассажа с'ежился, чуть-чуть не кончился. А на четвертом месяце совсем необычайно проросли зубы; тишайшая, выронив наследника, так взвизгнула, что прибежал из кабинета папаша, как был, то-есть со щипцами. Дальше все напоминало стилизованную новеллу. Мальчишкой тихонько прошмыгивал в кабинет, играл с пилками, щипцами и сверлами. Особенно чтил бормашину, мечтая: выростет, всех свяжет, кинет в кресло и начнет сверлить. Когда отец принимал, подслушивал у двери: слаще музыки—предварительные слезы, охи, папаша чистит инструменты—лязг и блеск, вой часовой—дерет,в плевательнице сгустки крови и (венец) серебряное очистительное бульканье—полощут рот. Впоследствии к искусству пристрастился. На диво всем в семье захудалого дантиста с гнилыми корешками во рту, с женой, способной только грызть сухарики, посыпанные тмином, и икать—рос сноб. Трагичность явно выпирала:—на стенках Гойя и Бердслей, в передней какой-нибудь клиентке с флюсом—в ухо—стих Бодлера.

Юный Андерматов, оглядывая сухари, „Ниву“ в приемной и прочее, изнемогал от собственного превосходства. Мир мелок, нет в нем места для черешневых зениц, презрительного колыхания задом и только что всходящих груст-

Digitized by Google

ных усиков. Значит надо миру мстить. Но как? Сначала еще детские мечты: стать, как отец, дантистом, каким-нибудь наглым аристократкам, не желающим даже взглянуть на Андерматова, сверлить часами десны. Но с годами хотелось большего, тем паче, что профессия зубодера не шла изящному ценителю Бердслея. Вообще профессия вещь— низменная. Пускай отец содержит: должен гордиться таким сыном. И не находя простора для своих сатанинских упований, когда окончательно надоело ругать мамашу так, чтобы она с перепугу икала, и щипать до крови, накинув лишний полтиник, на все согласных девок, Андерматов, выдавив из своих черешен любовную трагедию, женился на гимназистке Зине Чишкиной, пухлой курочке и сразу же все двадцатитрехлетние проекты применил на оной. Чишкина чего-то, а может быть и ничего не сообразив, после брачной ночи утром по привычке пошла в гимназию. Урок закона божьего. Закрывшись крышкой парты, Чишкина сообщила подругам нечто столь ужасное, что, пренебрегая батюшкой, весь класс взревел. Чишкину заставили немедленно взять в канцелярии бумаги и отправили под конвоем швейцара к супругу. Два года Андерматов творил. Осознав себя похожим душой и телом на восточного принца, возжаждал рабынь. Зина должна была утром, голая, повязанная старым шарфом, купленным у антиквара Черномордика, прислуживать, а именно: стоять у умывальника с мохнатым полотенцем, спину волосатую Андерматова натирать францбрантвейном (для оживления) и пока владыка пил кофе, в живописной позе лежать у ног, копируя какую-то картину (кажется Делакруа). Имя свое (Игнат) презрел, и жену заставлял звать себя „Эльзевиром".

Три года Зина проделывала все это и многое иное (интимного характера). А на четвертый, познакомившись с неким веснушчатым тапером, исполнявшим столь печально „Веселую Вдову", что глазки Зины покрывались испариной, сразу все сообразила и взбесилась. Андерматов ждал мохнатого полотенца, супруга же в это время изгоняла печали из тапера. Так и не дождался. Увез на дачу в Сокольники и запер. Отпускал только на полчаса, собирать колокольчики, коими она должна была посыпать его коврик у кровати. Вдруг конверт: бегала—„до востребования" получать. Что

Digitized by Google

же, Андерматов в трагический час показал: он не купчик, не крепостник, но Эльзевир, читающий Бодлера.

— Иди к тому кретину, но письма его дай мне. Я их читать не стану, я уважаю тайну переписки. Я буду их хранить в запечатанном конверте. Когда же через неделю или через месяц ты, осознав, кто я и кто он, вернешься с повинной, я прочту их, чтобы наказать тебя.

Зина попыталась противоречить, но Андерматов, ультиматум повторив, так сжал ее пухлую шейку, что после целый месяц пришлось ей не расставаться с горжеткой. Час спустя он получил большой, желтый, сургучем запечатанный конверт. Проводил брезгливым взглядом утешение тапера. Стал ждать. Вот, вот придет—несчастная, познавшая все превосходство Эльзевира, будет плакать, ерзать, молить. Тогда вслух перечтет все письма: каждым словом станет бередить. По слогам, с расстановкой: „лю-би—мая"—ну как любил? Хи-хи! Ну, как? „це-лу-ю"—вот что! А куда? Извольте, сударыня, каяться во всем? Ждал месяц, другой. Вечерами, облизываясь, вынимал желтый конверт, и щелкал, чтобы шуршало: в нем много писем, штук двадцать, на двадцать вечеров—потеха.

Год прошел. Ждать надоело. Зина где-то на Плющихе блаженствовала, произвела младенца и предавалась прочим мещанским радостям, не думая о скорбном духе Андерматова. Под Новый Год Андерматов купил бутылку шампанского и заперся. На столике: бокал, конверт, свеча. Разделся, обмотав вокруг бедер шарф Черномордика, чтобы выглядеть трагичнее, („плоть—горька") походил не то на наказанного Адама, с нравоучительной картинки „Грехопадение", не то на банщика из Сандуновских, разочаровавшегося в чаевых. Сам на губах изобразив двенадцать, выпил бокал и осторожно вскрыл конверт. Сейчас узнает, надругается над ними, будет всем читать (и где-то в памяти приятно застрекотала бормашина). Бумага, много туалетной бумаги и Зининым куриным почерком выведено:

— Ку-ка-ре-ку!

От гнева взревел. На утро в трубочиста, пришедшего поздравить с праздничком, швырнул коробку пудры. Словом очумел. Стал сложно, обдумывая все детали, пакостить кому придется. В душе таил надежду; доведется еще встре-

Digitized by Google

титься с изменницей, тогда... Заранее штудировал „Сад пыток“ и выбирал. Например: привяжет ее к нему (он вместо—ложа) и выдаст роте солдат, предварительно их напоив. Правда, дорого и сложно, но он сумеет!.. Беда, что он не выведал фамилии этого паршивенького музыканта. Даже в лицо не знает. Встретит—может мимо пройти.

Как Андерматов попал сначала в партию, потом в чеку—никто не знает. Пришлось как будто подделать бумаженку и просидеть недели две над разными скучнейшими брошюрами. Это было во Владикавказе. Там побаловался малость, душу размял, генералов допрашивая, особенно же одну хорошо сохранившуюся генеральшу. Уже уверенный, с мандатами и прочим, прибыл в Москву, где, очевидно, обреталась мерзкая чета. В дни всяких „чисток“ и проверок, когда интересовались совсем неинтересным и интимным, к примеру, чем занимался товарищ Андерматов до октября 1917, он предварительно, выпив бутылку брома и отправившись на пол часа к какой-нибудь особе, вроде Белорыбовой, чтобы, получив удовлетворение, стать спокойней, отвечал уверенно и деловито. Вместо Эльзевира и францбрантвейна, получалась: организация, работа, ссылка. Аш умилялся бескорыстности. Все уважали. Был вдоволь счастлив, гладя томно списки осужденных. Отыщет Зинку и тогда... О, это лучше бормашины, лучше роты подвыпивших солдат! Клал на стол листок „ку-ка-ре-ку“, бережно хранимый для растравы, револьвер, мандат и от предчувствий сладострастно фыркал. Но когда входили Аш или кто-либо чужой, тотчас менялся, ухитряясь даже своим трагическим черешням придавать строго марксистский оттенок.

Так и теперь: увидев Курбова. Знал: важный и опасный, не проговориться бы...

— По предписанию оргбюро..

Аш, ножницы оставил, доверчиво вперил голубоватые.

— Вот хорошо! Вместе будем работать...

(Уютно, по домашнему, как будто „вместе будем класть пасьянсы или собирать грибы“).

Белорыбова, и та, на минуту вдохновенно отдернув руку от Ундервуда, как на эстраде пианист, уставилась на Курбова. Подумала:

— Красив... но не моего романа... Мне нравятся толстые

Digitized by Google

и чтобы были закручены усы... Впрочем, (вспомнив Андерматова) об этом лучше читать—спокойнее...

Деловито Андерматов ввел в гущу работы. Закончил:

— Очень ответственный момент. Есть данные о крупном заговоре. Небольшое заседаньице...

Курбов осмотрелся, принюхался. Пахло как всюду, пайками и бумагой. Конечно, барышня советская... Еще две пары глаз. Один—угодник, благочестив и кроток, таким бы в рай, чтобы приятно стрекотали крылышками, а не в чеку, У второго в глазах притон, так и сочится на пол сало. Скорей всего подлец. А может быть полезен? Тогда хоть с чортом! Лишь бы вытряхнуть, выветрить, дать тем, другим, счастливым, сидящим не в чеке, а в разных благородных наркомпросах—дышать.

17.

Ясно: заговор. Сначала барон в Крыму недаром брил татар. Сообщение Росты: небольшое отступление. Слово „Алешки", шлепнувшись на московские заборы, всколыхнуло забытые надежды. Затем барона тарарахнули, но об'явились прыгунчики, на шарнирах и еще голосящие членораздельно мощи. Далее: меньшевики вынесли несимпатичную резолюцию. Почти что забастовка. В Тамбовской: продкома повесили. Сейчас на очереди Москва. Знают: по черным лестницам, по проходным дворам снуют франты и франки, торкаются в военные штабы, вместо мостов подрывают папки служебных дел. Заговор близко, может быть, в ста шагах от Лубянки, кушает французскую беленькую булку, крестится на всех Георгиев, растет, жирнеет. Где-то безусловно болтается его хвостик, то-есть язычек какой нибудь болтливой жены или любовницы, но как его поймать?..

Андерматов сидит следопытом над грудой показаний, кокетливо лорнируя огромной лупой: может быть какой-нибудь неосторожный росчерк и есть вожделенный хвост?

Перебирают доносы-просто и донесения секретных сотрудников. Старый Карл на стенке, слушая замоскворецкие неторопливые пересуды, пахнущие рассолом, предбанником, где чай и шайка, словом, отнюдь не диалектикой, но Азией—

Digitized by Google

смеется. Впрочем, смеется тихо, в бороду, никому не мешая. Зато Курбов грохочет: это, кажется, мадам Глубокова—сейчас приедет диван обманутого мужа. В чеке—журфикс.

Какой то адвокатик, моментально покрасневший, не от стыда, но от натуги (добывая усиленный паек и ордерок—супруге шубу) негодует: вчера он два часа беседовал с писателем Бобычевым: Заговорщик. Данные? Сначала говорили о пайках. Бобычев проявлял агрессивное безразличие (остатки саботажа). Потом зашли в чащи абстракции. И что же? Бобычев среди бела дня на Театральной площади, не смущаясь, что рядом Дом Советов и милиционеры, выпалил: „Все дело в духе". Адвокатик не может Немезида, рази!

Далее, на хорошей бумаге увесистый увраж о злодействах контр-революции. Пишет спекулянт Папьянц. В его квартире реквизировали комнату антантовы шпионы. Уверяют, что коммунисты, но партийных билетов нет. Папьянц решил проверить, приказал дочурке благоговейно исполнить „интернационал". Самозванцы не только не встали, как подобает, но один презрительно сплюнув на ковер (национализированный, как и прочее, то-есть составляющий собственность советской власти) закричал: „врет! сил нет слушать!". Посему Папьянц, перечислив все свои заслуги, как например. пожертвованное нечто в 1905 г. на нуждающихся студентов, просит самозванцев срочно расстрелять, а в случае каких-либо амнистий, по меньший мере, выселить из реквизированных комнат, где Папьянц—главлес, жена Папьянца—главсахар, сын—главгвоздь, и все в каких-то шести каморках!..

Наконец—последний. Здесь даже Белорыбова, отпадая от Гамсуна, прислушивается. Некто, бывший судебный пристав, Холщенников, не выдержав, доносит сам на себя. „Стоя на страже интересов рабоче-крестьянской власти, считаю своим долгом донести вам о покушении на государственное преступление, произведенном мною, гражданином Евгением Холщенниковым, заведующим хозяйственной частью „студии героически-комического театра", проживающим на улице Интернационала в д. под № 47. Как известно в квартире № 4, бывшей моей, проживает с июля месяца 1920 года политком военно-хозяйственной академии,

Digitized by Google

товарищ Сивохин, который в свободные от занятий часы высоко поддерживает мое революционное самосознание. 26-го января сего года товарищ Сивохин пригласил меня к себе и по случаю наших дипломатических преуспеваний угостил трудовым ужином, содержание коего вам, по моему разумению, известно. Все же считаю своим долгом указать, что кроме морковных пирогов из серой муки, по шести на товарищескую персону и пшенной каши с компотом из сушенных груш, имелась бутыль спирта, по уверениям товарища Сивохина, не роняющая нашей классовой выдержанности и незаменимая в военном хозяйстве. Откровенно признаюсь, что не помню, как я пришел к себе и лег рядом с женой моей, неспособной к труду, о чем имеется постановление комиссии за № 3481. Проснулся я от зычного голоса. Надо мной стоял инкогнито, для сокрытия своего лица и партийной принадлежности завернутый в простыню. Инкогнито толкал меня пребольно в живот кухонной принадлежностью, коей когда то взбивали сливки или же куриные белки и кричал: „Евгений, ты благословен в женах!“. Осмыслив этот контр-революционный призыв, я взглянул на свой чрезвычайно увеличившийся живот и во многом усомнился. Далее настало мое злодеяние: вытащив из печки уголек, я начертал на своем голом животе: справа, выше пупа упраздненную букву „ѣ“ в крупном масштабе, слева, внизу „В. Т. Т. З. М.“, что должно было обозначать „вынашиваю торжественное тезоименитство законного монарха“. Ныне, осознав своё преступление, прошу вас меня в срочном порядке ликвидировать, а в награду за чистосердечное показание, паек студии героически-комического театра выдавать после моей ликвидации неспособной к труду супруге—гражданке Марии Игнатьевне Холщенниковой“.

Аш и тот не выдержал—улыбается. Молочные глазки засветились, младенчик запросился на икону, грудь сосать или играть с румяным яблочком.

Впрочем, за дело. Пришел секретный сотрудник Чир. Прошлое его—туманы. Был максималистом. Убрал не менее пятидесяти „фараонов“. Налеты. Какие-то пятисотрублевки. Впрочем, теперь великое усердие. Пропавший голос легко заменяемый тихим хрипом, ползущим из самого живота и на лице раскиданные щедро скверные прыщи.

Digitized by Google

Вновь перебирают донесения, письма, показания. Всё ерунда, всё около да рядом. Заговор играет в жмурки: под ухом шелестит франчишками, резвой ручкой военрука щиплет огромный политкомовский зад и всячески шалит — то в Мертвом переулке, где снег по плечи и отдел охраны памятников старины, медведем рявкнет: „становись во фрунт!" то на Красной Пресне, быстро гримируясь, чтобы пучились мозоли на ладонях и пот на лбу сиял, забыв о франке и о фрунте, выглядит совсем марксистом: „Свободные выборы — не угодно-ли"? Как защемить юркий хвост?..

Аш серьезен. Предлагает: изучить классовую природу, пересмотреть архив. Разослать анкету. Реорганизировать под'отдел. Конечно, все это весьма занятно. Но где же заговор? И Андерматов протестует: ждать нельзя. Из'ять по спискам—тысячу, две, пять. Списки же готовы. Белорыбова запотела, переписывая; почти что адрес-календарь „Вся Москва". Начинает по алфавиту: „Абаров, Авигов, Агарин, Адельсон, Ажевский"... Андерматова, увы, нет (дядюшка уже из'ят за былую непочтительность), зато есть просто Андер. Произносит имена с особой материнской нежностью, утомлен и бледен—не шутка: пять тысяч детей. Снова возражения. Курбов—против: может быть, из'ять и не мешает, но это каникулярные дела, теперь же спешно, раз заговор, не пять тысяч, а просто пять, не по алфавиту, даже без прописок, через хвостик. Пауза.

Тогда выступает Чир.

— Тсс... Что-то...

— Что?

Встает и, отливая прыщавым, пятнистым лицом, под Маркса, величественный, как пифия, выдавливает из утробного тюбика одно:

— Здесь Высоков.

Чир не даром становился в позу: эффект необычайный. Аш, оглядывая ящики стола, как будто Высоков в них, пришамкивает:

— Вот как!.. Высоков!.. Истребить!..

Андерматов хочет скрыть озноб. Не удается. Рука с папиросой на-лету вычерчивает ужасные кривые. На радиостанции прочли бы S. A. S, а проще в обиходе: ай-а-ай! Мне страшно! Что стоит Высокову меня ухлопать?.. Лучше не

Digitized by Google

выходить на улицу. Впрочем, может и сюда пролезть. Андерматов при всем трагизме хочет жить. Как спасательный круг выплывает: взять отпуск. В здравницу: пить молоко с пенками, вести дневник. Не пустят. И папироса, отчаявшись, влетает в ухо, вместо губ.

— Вот до чего рассеян. Хорошо бы отдохнуть...

Это к Курбову (ведь он важный—с цекистами на ты), но Николай не слышит. От слова „Высоков" проснулся, преобразился: наконец-то, враг! Снова, как будто год тому назад: английские френчи, название станиц, на рубашке рыжая сухая кровь, на карте красным карандашем отчеркнуто: к 6 ч. занять. После мушиной скуки канцелярий, шама Аша, Андерматовского алфавита, дряни, чепухи, тика часов, тука Ундервуда—взрыв. Оправданы пайки, подвалы, липкое плохое дело—чека. Николай, помолодевший, разгоряченный—чуден! Сюда бы Пушкина не мешало: воспеть. Машина в ходу и вдохновение. Глаза—сталелитейный завод. Отхлынувшая кровь готовится к прыжку, громко грохочет под котлами: сердце и висок. Наконец, приподнимается рука: в ней розовый огонь, четкий хруст, сгиб, расчет до миллиметра, страсть и воля. Даже Чир, презирающий эстетику, включая оперу „Гугеноты", морды девок и плакаты на Кузнецком, и тот залюбовался. Потом, недовольный своей слабостью, и перемещением центра внимания, вновь зашипел:

— Натолкнулся случайно. Есть такая Машка Свеклокуша. С военморами в „Лоскутной" промышляет. Впрочем, пускает всяких. В мае через нее я спекулянтика Заркевича словил. До ужаса вместительная девка. Так вот она в субботу отправилась на Сухаревку за пудрой: выдерживает чин, и там подцепила сморчка. Сморчок продавал нюхательный с мятой и сам все время чихал. Она к нему с разумным словом, а он—апчхи и никаких. Но обещал серебряный полтинник и фунт рафинаду.

У нее,—как полагается, но только, принимая во внимание седину и чихи, удивилась—слишком резвый. Уснули. И вот, на счастье, Свеклокуше какая-то дрянь приснилась: будто она под деревом. На дереве растет вобла и та вся обглоданная—одни головки, а внизу китайченок с пушкой. И будто говорит он: „если ты мне не сорвешь вот эту воблу, я тебя из пушки расстреляю в пух". Девка испугалась

Digitized by Google

(хоть не трусиха, но это ведь во сне) и вцепилась в бороду сморчка. Проснулась: глядит, у нее в кулаке пук волос, сморчка, как будто и не бывало, а рядом дрыхнет молоденький, еще подхрапывает с..... Машка ему со злости всем фунтом рафинада по бритой морде:

— Мазурик!

Взревел. Опомнившись, попытался быстро нос закутать в бороду. Не удалось. Помолчал и бух—(если только девка не врет) стал Машкины коленки целовать:

— Ты, говорит, мое просветление. Я не мазурик, а высокий человек. Идеалист я—вот кто, против китайцев. Я из тебя сделаю избранную деву.

Машка, понятное дело, расчувствовалась, но полтинник все же взяла и днем забежала ко мне. Я сразу понял—кто—Высоков. Он ей и рандеву назначил. Обещала выпытать: девка-молодец, прямо комиссар. Ко мне ей шляться не годится: может быть, высоковские молодцы следят. Пришлет записку с подругой Сонькой,—тоже такая, „Лоскутница"...

Закончив романтический рассказ, Чир победоносно улыбнулся, и прыщи засветились великолепными опалами. Стук. Курьер.

— Товарищу Чиру.

Странно. Не письмо—пакетик. Развертывает быстро: коробка спичек Лапшина, а в ней не спички, но живой жирнющий таракан; водит усищами, внимательно осматривает учреждение. Недоумение. Брезгливо жмется к стенке Андерматов, он боится не только Высокова, но и тараканов. Впрочем, это не страх, а чувство эстетического превосходства. Аш отважен—готов нападение отразить, уж ножницами: чик-чирик. Только Чир, удовлетворенный, щурится на таракана, как кот на мышь:

— У нас теперь все нити. Свеклокуша выведала. Знаете где заговор? В „Тараканьем Броду".

18.

Опять мело. То-есть встречались дыхания двоих: отощавшей, очумевшей, согласной не дышать Москвы и московской зимы, весьма добротной. Москва сначала сопротивля-

Digitized by Google

лась. В четыре распахнулись двери тысяч канцелярий и в зиму задышали различные теплые шарики, порой кокетничая наушниками по ордеру или старорежимной муфтой. На бульварах продавали спички. Вокруг распределителя № 48 прибой мятели тщетно пытался смыть материковый державный запах доморощенной капусты. Словом—торжествовала жизнь. Но вскоре метель, покрутившись в поле, за Рогожской заставой, раз'яренная, опять дохнула, и Москва сгинула. Милиционеры, папиросники, даже фонари пропали. Только клочья стенных „Известий" еще вздыхали в такт метели.

Вдруг на Цветном бульваре возле цирка показались трое. Правда казалось не идут они—несутся прямо от Марьиной рощи, выдышанные полем. Но это оптический обман: шли стойко, подрубая снежные столпы с адресом и с волей. Чуть покрутившись на углу, загнули. Две папахи, платок с ушками—трехмачтовый парусник.

Наконец, причалили. Куда—не видно. Оснеженные окна чуть светились, не фосфорическим снегом, но своим внутренним светом, желтым, животным, теплым, напоминавшим сразу лампадку, старческую кожу и мед во рту. Одна папаха храбро навалилась на дверь. Другие помогли. Через минуту примерзшее дерево поддалось, ахнуло, впустило.

—Здесь. Пришли.

Голос Чира. Значит Чир привел. Чир—умник. Ему бы не „фараонов" бить, не закидывать удочку на спекулянтских пискарей, а прямо сесть Ллойд-Джорджем и с целым миром в дурачки играть (обыгрывая). Даже штат у него министерский. Что девка?—Дура! А Свеклокуша—дипломат. Не только прелестями натуральными прельстила Высокова, но все выпытала и сообщила так, что Сонька, принесшая коробку с тараканом, никак не могла догадаться, в чем дело, страдая же с детства любопытством, пристала за полночь к военмору Масодаву:

—Какой есть символ таракан?

Масодав, подумав, изрек:

—Это и младенец знает - большущий, говоришь? с усищами?—следовательно, польский пан, Пилсудский.

Свеклокуша знала: Чир, не Сонька—сразу догадается, ведь не раз совместно дули самогон и даже как то спали

Digitized by Google

в Тараканьем Броду. Так и случилось. Военмор мог философствовать. Аш чиркать ножницами, Чир знал: заговорщики встречаются в задних комнатах вегетарианской столовки „Не Убий" в Девкином переулке.

Курбов захотел сам попытаться выследить: дело серьезное, никому нельзя доверить. Посему, получив папаху и шинель, стал вполне мешечником. Увязалась еще Людмила Афанасьевна. Она как раз зачитывалась Джеком Лондоном, очень хотелось на яву увидеть московские Техасы. Высоков ей представлялся ковбоем в шляпе с кожаным ремешком. Что же, с барышней даже незаметней (это заключение Чира). Белорыбова послушно намазалась безо всякой нормы, повязалась платочком, обещала пить самогонку, не чихая и, если понадобится, соответствующего соблазнить.

Втроем ввалились. Курбов от метели стал еще крепче: надышался. Сам теперь может выдохнуть такую же. Чир—завсегдатай, как дома. Людмила Афанасьевна слегка труслт, даже подумала, не стоит читать вздорных книжек, лучше просто служба и бутерброды. Как следует додумать ей не дал Чир. Пользуясь конспиративными преимуществами, обнял Белорыбову за текучую неопределенную талию.

—Вы, цыпочка, не сомневайтесь: косых не пожалею...

Пусто и морозно, в роде сеней. На прилавке умывальный таз с солеными огурцами и фруктовая вода. Ни печки, ни людей. Только какой то безобидный старичек ест очень медленно, обсасывая со смаком жесть ложечки, ненормированный продукт—простоквашу.

Но здесь не задержались. Одолев еще две двери, корридорчик, пустую кухню, где мяукала кошка, выплыли в открытое море. Остолбенели: свет, тепло. Люди, много людей на скамейках и под. Горланят, поют, играют в карты, здесь же блюют. В носу защипало от крепкого настоя мокрой овчины, пота, сивухи и рассола.

Ловко лавируя среди бутылок, шапок, морд и сапогов, хозяин Иван Терентьич Шибитов подошел к ним. Церковный староста, почти что мученик за веру: в восемнадцатом, вступаясь за попранную церковь, целый день ходил по Тверской в крестном ходу, и возле Дома Советов, став в позу на подобие пророка Иеремии, сначала прогнусавил „Христос Воскресе" а после, недовольный—дом стоит и даже

Digitized by Google

плакаты все на месте—показал фасаду и флагу кукиш. Впрочем, вскоре, будучи человеком очкастым, следовательно: степенным, подобному мученичеству предпочел реальность. Походил, понюхал, подумал, и к весне совместно с Ваней Острюжиным, прежде половым в „Стрельне", а ныне коммунистом безработным, но и беззаботным, стал неожиданно для всех „трудовой артелью". Другие регистрировались, ботики из бобрика, бисер, деревянные ковши с молотом-серпом, словом, идиоты. Трудовая артель, то-есть Иван Терентьич в широком толковании—человек благочестивый—облюбовал вегетарианство: божья заповедь на вывеске по новой орфографии. Получил ордер на целый дом: правда, дом в роде курятника, только на слом годится, но все же двухэтажный. Прежде, в дни юности и счастья в нем помещался изысканный притон мадам Аннеты с румынскими девицами. Потом мадам Аннету со всем приплодом выселили на Ямскую. К дому прибили жестянку „Союз рабочих кожевников" (приличные жильцы, оценивая запах, а также наименование переулка, браковали). Союз попах кожей, но был также вскоре выселен в Бутырки. Дом долго пустовал, пока в нем не поселился отставной вахмистр. Занялся он разведением морских свинок для бактериологического института. Свинки плодились, при этом громко пахли—так до самой революции. Не выдержав дипломатической изоляции России и восьмушек, вахмистр преставился. Свинки тоже сдохли. Мебель растаскали на растопку. Остались только тяжелые слои запахов различных эпох—от румынской пудры до мокрой соломы воспитанниц вахмистра.

Вот в этом историческом сооружении обосновался Иван Терентьевич. В бывшем зале—вегетарианская столовая. Иногда заходят дураки на вывеску—какой-нибудь ветеринар, приехавший в командировку, или дама, продавшая последнюю гардину и высчитавшая, что в столовых продукты должны обходиться дешевле—„массовое потребление". Дураков не гонят, дают кому пшенной каши с растительным маслом, играющим различными цветами, будто нефть, кому огурчик, кому простоквашу. От этого один убыток, но иначе „артель"—не артель. Притом уже говорилось,—Иван Терентьич человек благочестивый, совестливый, не может „вдов, сирот", то-есть даму без портьеры или заезжего ветеринара

Digitized by Google

обидеть. Тем паче знает: масла такого радужного подольют, что ветеринар, вернувшись в Калугу скажет жене, романтически бледнея: „в Москве есть Девкин переулок, вот сколько буду жив, не забуду—у-жас!"... (Жена, простит, утешит). Это о каше и о масле.

А в задней комнате, куда Чир привел сослуживцев—никаких „ужасов", пожалуй кроме собачей колбасы. И иерархия напитков—от самогонки, пахнущей дерущим нос и небо деревом, минуя спирт с анисом (для пресечения сомнений) до коньяка. Последний по подданству мадьяр, по роду занятий красильщик (скорей всего таким чистят экономно будапештские перчатки) Иван Терентьич его сервирует в кофейных чашках, совместно с собачьей колбасой особенно взыскательным, которые требуют, чтобы всё, как в заграницах. Раз Миша Мыш, укокошив накануне артельщика Главкожи, нагло на глазах у Чира, даже не угостив его—выпил пять бутылок коньяку и слопал при этом не менее копченого пса, разложенного на колбасы, за что вскоре и кончил свои дни у стенки. Впрочем это было после и вне. Внутри—нейтралитет. Иван Терентьич, повесив в угол Троеручицу, к ней подпустил и Троцкого в шлеме, принимающего парад. Чира он уважает, поит бесплатно спиртом и часто, уводя к себе в угловую комнатку, где отдыхают под перинами жена и три дочки, многое ему сообщает из интимной жизни посетителей. Зато Чир обещал ни в помещении, ни в Девкином вообще не хватать и обещание держит. Поэтому „Тараканий Брод" считается местом безопасным, почти посольство с иммунитетом: за полтора года ни одной облавы. Для многих это бóльшая приманка, нежели мадьярский коньячек: для того же Миши Мыша, для Леща с ребятками, ценнейшего художника, печатающего в день до тысячи косых, не отставая от советской власти и сохраняя нежно все ее причуды, вплоть до китайских букв. Для Пелагеи (при женском имени—мущина, даже не без блеска, то-есть с напомаженными усиками), ухитряющегося и ныне, как в семнадцатом, с примерным педантизмом ежевечерне честных спецов освобождать от шуб и для прочих. Среди таких буколически восседают, друг другу не мешая Чир или Шмыгин (сотрудник Эм-чеки). Это всё буржуи, „коньяк-

Digitized by Google

щики"; если прибавить к ним Троеручицу—оплот и умиление Ивана Терентьича.

Далее—золотая середина: скупщик амуниции Чиваров, дедушка-Тимоша, продающий кокаин, не без подмешанной известки (просто—отколупнуть от стенки и пять косых в кармане), от которого девки чихают, бесятся, друг другу рожи царапают; тихий Зильберчик, романтически влюбленный в „романовки"—взглянет на свет: Петр Великий—и прослезится; Свеклокуша; Маничка Типунчина—местная Кавальери, никаких изьянов, если не считать лиловеющих следов, ласк ревница-Леща, историческая девка, гордящаяся тем, что спала с тремя режимами то-есть с приставом Басманной части, с самим министром при Керенском и с каким-то заспанным профессором коммунистического университета, который принял ее за неофитку. Все это среднее сословие пьет предпочтительно спирт с анисом, зря деньгами не швыряю, но и не скупясь, к „коньякщикам" чувствуя должное почтение и презирая чернь.

Чернь-то, как черни полагается, безымянная. Иван Терентьич, снисходя, пускает всех: мешечников, папиросников, извозчиков, девок. Приходят спившиеся интеллигенты, облезшие от недоедания бородки мокают в самогонку и быстро охмелев, скулят: „идеалисты—в дураках, вот вам народ, а мы еще за него распинались!..." Таких прежде Миша Мыш, а теперь. после его преждевременной кончины. Пелагея мимоходом бьют валенками по носу до изгнания из чрева самогонки и идеализма. Порой извозчик от лютости напитка чумея, ярко фиолетовый, вообразив, что вся вселенная козлы, садится на голову Ивана Терентьича и восседает, но примятый все теми же блюстителями нравственности, после, до утра, валяется среди сугробов Девкиного переулка. Девки усердствуют и, пользуясь благоприятной температурой, не менее 20°, „коньякщиков" соблазняя, расстегивают все, что можно, рукой вытаскивают наружу большущие пенистые груди и похлюпывают их, как разносчики арбузы: вот что, не обман...

Для дальнейших процедур во втором этаже имеются четыре комнаты. Иван Терентьич, любящий высокопарность, зовет их „номерами". Обставить не удалось — но много ль человеку надо, особенно в минуты экстаза? В двух подороже,

Digitized by Google

впрочем, кровати, даже с одеялами и заржавелые рыжие тазы. В других — на полу. Что же! Пол не снег — удобство налицо. Но во всех четырех иконы шлют благодать на приходящих. Иван Терентьич сдает на час или на ночь. Когда на час, поглядывает аккуратно на свои массивные серебряные, с накладным цветным павлином и шлет одну из дочерей— „гони"! Дочка, не смущаясь обстоятельствами, входит, если дрыхнут, толкает женщину в нос носком ботинка, посетителя же щадит. Иногда уходит только девка, а мужчина, соблазненный дочкой Ивана Терентьича (в три обхвата) собиравшийся уж было домой, все начинает сызнова. Но дочек Иван Терентьич бережет: берет за них не мало.

Так тихо, просто, среди кризисов и тезисов, ведется в Москве большое прочное хозяйство: „Не Убий"—снаружи, „Тараканий Брод"—внутри. Последнее требует некоторых пояснений. Почти феномен. Тараканы, как известно, любят сухость и воды боятся пуще иных купчих, даже в засуху не расстающихся с калошами. Водятся они на кухне возле печек и, по заверениям некоторых наблюдателей, обожают духовое отопление, человек от него вянет, в носу—Сахара, а тараканы наоборот, весело водят усами, и жены тараканьи на радостях кладут невероятное количество яичек. В помещении Ивана Терентьича чрезвычайно сыро: каплет с потолка, стены, вечно потея, отливают венецианской зеленью, а сгнивший пол, расступаясь и чмокая под ногами, напоминает о чем-то вовсе не домашнем — о распутице или о болоте. Несмотря на это тараканы противоестественной любовью любят мокрый дом. Они отважно ползают по потным стенам, насмешливо выглядывают из чайников, оживляют мертвецкий сон собачьей колбасы и заставляют визжать счастливых посетителей четырех верхних комнат, оказываясь неожиданно в чьем либо ухе.

Когда Иван Терентьич только открыл свою вегетарианскую с добавочным, в один из первых вечеров, к нему пришел Миша Мыш. Хоть был он с каланчу и весил не менее восьми пудов, но отличался детской нежностью, наивностью. Миша Мыш спросил чашку спирта, выпил, задумался. Манька Типунчина обещала заманить в цирк Соломонского армянина с брильянтовой булавкой. Во время вольтижа, Миша Мыш должен был булавку переместить. Обдумывая

Digitized by Google

некоторые детали полета и перелета, Миша Мыш вдруг заметил редкостное зрелище, остолбенел, забыл о Маньке и о брильянте, завопил:

— Иван Терентьич, видишь?

По полу ползло целое стадо тараканов. Дойдя до лужицы, они не повернули назад, но храбро окунули в воду сухие до хруста лапы и усы. Перебрались. Миша Мыш в восторге лепетал:

— Ну!.. Здорово!.. в первый раз такое вижу!.. тараканий брод...

Детский лепет впечатлительного Миши Мыша стал именем, утвердился, вошел в историю. Не говорят „к Ивану Терентьичу" или в „Не Убий", нет в „Тараканий Брод", а завсегдатаев зовут „тараканщиками".

Вот куда попали, Высокова выискивая, Чир и спутники. Спросили у подплывшего Ивана Терентьича спирта. Подал, и, глядя, на явно вытекающие из под блузки белорыбовские прелести, почтительно икнул в ухо Курбова:

— Вы, может, гражданин, номерок желаете, имеется, с кроваткой...

Курбов огрызнулся. От „тараканщиков" он сразу замрачнел. Столько ломать, кромсать и что же?.. Все на месте. Провы. Рабочие глубоковские с крысой. Кавказский погребок. Над ним номер с кроваткой. Знает: тиковый тюфяк, ямка и какая-нибудь маменька вьется юлой. Чорт возьми! Но как же сжечь этот тюфяк, громадный, всемирный, в полоску, сальный, повисший над ним, надо всеми?..

Кругом—веселье. Чиваров, выиграв в карты у Зильберчика цепочку и в придачу еще бутылку коньяку, вообразил себя слоном, стал носом щекотать спину Манички Тинунчиной. Маничка вся в упоении трепыхала, как бабочка, но Лещ, возревновав, пустой бутылкой трахнул ее по носу— в итоге пострадало платье—кровь, не отмоешь... Слон-Чиваров, как слону и подобает, проявил великодушие, угостив чашкой коньяка обиженного судьбой Зильберчика с результатами совсем необычайными. Тщедушный Зильберчик мигом обалдел. Вынув пятисотку, стал хоронить в кухонном решете, похищенном у супруги Ивана Терентьича императора Петра, поливая его остатками мадьярского напитка и слезами, напевая над ним, как в синагоге: „Ка—дош." В ответ

Digitized by Google

какой-то сопливый папиросник, хлопая себя по брюху, беременному стопами ассигнаций, победоносно грянул:

— „Цыпленок вареный, цыпленок жареный.
Цыпленки тоже хочут жить"!..

Николай еле сдерживается. Даже о заговоре не помнит—ненависть цокает в мозгу, как эскадрон. Вот сразу без допросов, без дознаний, всех этих пьющих и поющих, как цыплят, за шейку раз, два, три!.. Сжимает свои руки так, что раздается жесткий хруст. Может, Андерматов прав—минуя церемонии, прямо по алфавиту—всех. Чиру:

— Что-ж, Высоковым и не пахнет?..

— А вот я пойду, понюхаю.

Чир, подмигнув, нырнул в спальню Ивана Терентьича. Долго пытает и улещает: двести бутылок старой „смирновки" даст и грозит расстрелом. Иван Терентьич от потуги что-либо измыслить раздувается, усердно потеет, клянется и крестится на все угольные, т.-е. сразу на Троеручицу и на козыряющего Троцкого; если-б мог он, с удовольствием родил бы какого-нибудь заговорщика, или по крайней мере, дочкам приказал бы. Для смягчения Чира, выкладывает все: Чиваров вчера купил двенадцать полушубков у некоего Бадонина, а Зильберчик, подвыпив, просил Ивана Терентьича, чтобы тот его „в случае чего" не резал—он сам за церковь, коммунистов терпеть не может, а если и любит что грешным делом—то немножко, совсем немножко конституции. Может быть, в другое время Чир польстился-бы на полушубки или на конституцию, но теперь, высоко паря, презирает.

— Ты об этом Шмыгину выложи в эм-чека, а мне...

(Сиплый голосок еще сиплее, тише).

— Высокова!..

Потеряв надежду спасти себя какими-то полушубками Иван Терентьич зовет на помощь Глашеньку—младшую из дочерей,—скромненькую, в коричневом гимназическом платье, две косы, ресницы вниз, словом первая любовь. Чир мягчает, лицо прыщавое, багровеет, даже белки глаз становятся цвета раздавленной клубники (так, когда „фараонов" бил или в чеке по темным коридорам к допросу водит). Иван Терентьич, удовлетворенный столь быстрым результатом, даже не помышляет о верхних комнатах,—здесь оставит, на своем супружеском ложе.

Digitized by Google

Николай и Людмила Афанасьевна долго ждут Чира. Молчат. Курбов о своем: о покалеченных прекрасных ромбах, о скрежете сурового колеса, о желтых теплых шейках, мерзко хрустящих под руками. Белорыбова же, охмелев и разомлев, исходит в молочном паре мечтаний. Даже хлеба с колбасой не доела. Глядя, как Лещ с вывертом щиплет грудь Манички, Людмила Афанасьевна вздыхает—четко, громко, как будто у доктора на осмотре, когда выслушивает: вот я—Виктория, кто-нибудь — меня, с усами, толстый, как в романе „так любили"...

Наконец—Чир. Заспанный и успокоенный. Все его жесты дышат неким миром, благодатью. Причин не об'ясняет, а на сердитый окрик Курбова, зевнув сначала, так зевнув, что кожа, не выдержав, затрещала, кратко:

— Ни черта.

Собираются итти. Вдруг вваливаются трое. Вожаком—кривой и угреватый, до пантеровой пятнистости—Пелагея. С ним двое, не „тараканщики"—тоже здесь впервые: мужчина отменно плотный, с выправкой оловянных кирасиров, с закрученными туго русыми рогаликами усов и маленькая женщина. Лица ее не видно: платок весь инеем разузорен.

Чир: не эти-ль?.. Мало Пелагее шуб, он путается с кем-то, явно несоответствующим. В оба! Усач из интеллигентов, девка не местная, самогонку дует исправно, но чашку держит по особому, будто в кондитерской пьет шоколад. Чир знает таких—в Ялте мигом раскладывал на дорожке, в наше удовольствие...

Людмила Афанасьевна отнюдь не интересуется манерами девицы. Вздыхает еще чаще, еще громче; из молочного пара выростают рогалики усов. С белорыбовским сердцем неладно, мечется туда-сюда, как беспокойный квартирант. Неужели этот?.. Плотный, сдобный, распластавшийся где-то в предчувствиях, он сладок, как дивный бутерброд. Пелагея зовет его Иваном Ильичем, Иван—ну да,—Иоганн, а я Виктория. Дома—нежно—Ваня. Будет щипать высунутый из-под одеяла белый, сонный локоть. Истома.

Курбов:

— Ну что-ж? Подсядем что ли?..

И сразу—обухом. Девушка разматывает платок. На лице слегка испуганном и смуглом, под крыльями бровей, то

Digitized by Google

улетающих легко ввысь, то падающих обвалами—синь, сквозь мамины шторки звезды, последняя таинственная схема мировых совхозов, сердца, ночи, глубины. Лицо такое, что все—камнями, Лещ поднял кулак — не опускает, Зильберчик смеется ласково, по бабушкиному, и умиленный Чир, забыв про Глашу, про чашку с коньяком—дрожит: как же? разве такое может быть? Поражает слабость, почти предсмертная, когда приподымают на простыне, воск, пух, дыхание, а в этом—невиданный накал последней воли, сталь спирали—к небу, спертость—меж ребер целый мир. Каждый вспоминает детство, большая книга, о таких—легенды. С Николаем—катастрофа. Курьерский вниз с насыпи, еще последние вагоны плавно скользят по рельсам, а машинист уже—комок. Еще спокойно Чиру:

— Подсядем?

А внутри: бежать? спастись? Нельзя. Прежде знал; умирают от пули, от голода, от злобной скуки и докук, но чтоб от нежности?.. Нет, этого не знал — впервые. Вдруг прояснился путь — от большеголового младенца в избе сибирской, к рабочим, громко топотавшим в переулке и сюда к чужой, быть может, злой и злобной, к врагу. А нежность все сильнее вздувалась. Чуял ее всем: в глазах она, сперва туман, потом зияние; в ушах смутный гул; соль во рту; холодеющие пальцы; запах детства, с тряпьем, с животной лаской, с яблоком под подушкой. Забирала всего. Кажется сейчас умрет. Позади: раскиданные числа, лоскуты фигур, последние припадки плана, судороги равновесия. И тают как метель, на ее вязаном платке. Имя? Слышит—Катя. Встает.

И все же отчаянным, никем непонятым усилием одолевает. Снова Курбов, работник, член, винт, зодчий. Нет! Так не сдастся. Он—в притоне. Это — агенты белых. Впереди—ликвидация, скрепы, победа. Чиру, уже успевшему и умилиться, и кончить чашку, в третий раз решительно:

— Подсядем.

19.

Чир правильно подметил все. Катя, действительно, была не из местных девок. Верно и то, что хотя сивуху она глотала храбро, но предпочитала мелкими глоточками отхлебы-

Digitized by Google

вать горячий крепкий шоколад. Как же она попала в „Тараканий Брод"? Зачем ей понадобилось в метельную колючую ночь забраться чорт ведает куда? Может, за кокаином дедушки—Тимоши или (дома—родители) спать с неотразимым усачем, уже поймавшим в сеги белорыбовское сердце? Тогда при чем тут Пелагея? Недоумение ощущали все.

Чтобы ответить на эти тревожные вопросы, надо повернуть назад по еще синеющим среди сугробов следам, до комнатки на Спиридоновке, и дальше—к Брянскому вокзалу. Следы меняются: вместо ножки с высоким пронзительным каблучком ,тупое сапожище. Еще дальше—без видимых следов—по нюху. Много городов, границ и фронтов. Наконец, зеркальные вращающиеся двери парижского ночного кабака „Монико". У дверей негр в красном фраке. За дверьми—разгадка чудесного появления Кати и многого другого.

Конечно, „Монико" не „Тараканий Брод"—культура. Вместо Ивана Терентьича вьется метр д'отель статный, гладкий, изгибающийся предусмотрительно, как перочинный ножик, готовый тотчас же сервировать дюжину маренниских устриц, бутылочку бургундского, любовь и счастье. Входишь—трах по голове: грохот, охание, визг джаз-банда. Малайцы прыгают, как обезьяны на ветках. Уронив губу, чуть ли не на пол, один вдруг припадает к причудливо изогнутой трубе и жалостно мяукает. Другой оседлывает барабан, яростно бьет палками, ногами, головой в тарелки, в медные тазы, шкуры, в пузо какого то малого малайчика. Звуков столько, что они не успевают оседать, загромождая залу медной рухлядью и битым стеклом. С ними—серный дым гаванн и парфюмерия английских папиросок. Свет люстр также не может течь, сгущаясь он плавает среди гула и дыма масляными пятнами.

Меж столиками, две голые женщины, в блинчатых шляпах и в оранжевых чулках, танцуют. Раз—прижимаются, два— врозь, раз—снова вместе. Все ясно и понятно. Как будто, где-то, на широком ложе почтенный консьерж прижимает и отстраняет свою супругу—четверть часа, пол, час, ночь напролет, всю жизнь. И снова раз—друг к другу, два—передохнуть. Тела склеены. Клейкий грохот, тягучий дым, застывший свет – крепче синдетикона. Будут качаться долго. Когда же малаец выронит в изнеможении палочки, а зевающие отчаянно лакеи повернут выключатель, отпуская на

Digitized by Google

волю в синюю редеющую темень послушливый свет—перестанут. Разлучат. И снова кинут, только без шляп и без чулок: раз—вместе, два—врозь...

В укромном углу, под пальмой гости, достойные такого ресторана. К ним приближаясь, метр д'отель столь сгибается, что за треском манишки чувствуется хруст костей. Вокруг стола нечто торжественное. Ясно, здесь не просто кутят по случаю какой-нибудь удачной сделки, нет—служат идеалу. Никаких нескромностей: черное и белое. Черны: смокинги, шелк дамы, икра в боченке; белы: скатерти, накрахмаленные груди, пудренные щеки, водка в графинчике, лед. Напоминает богослужение. Дама смягчает суровость чина ангельской улыбкой. Недаром ее сосед плешивенький французик, как лягушонок, прыгает на стуле:

— О, эта мистическая красота! О, Византия!

Услышав „Византия", дама сердобольно кивает головой: не впервые, конечно, но Византия, услащенная духами Герлена и танцем джимми. Может, завтра в пять часов у Румпельмайера?... Нехотя берет виноградину и с золотого тельца медленно сдирает черное, бархатное платьице. Косточка во рту скользит, пахнет терпким духом винных погребов, лепечет о Ницце и о Массандре.

— Да, жизнь все же прекрасна! Мы столько, столько потеряли... У мужа отняли дом, бумаги—всё. Несчастная Россия!

И над Россией Византия готова уронить серебряные капли, но, зная, что лучше утешить живого, нежели над мертвым плакать, только лопочет:

— Вы нам поможете? Мы победим. А я?... Мне ничего не нужно... У нас есть вилла в Ницце... Скромный, почти монашеский конец..

В затонах дивана ее рука с длиннейшими, отточенными сверкающими, как орудья, ногтями, встречает наконец другую—мясистую. Почти проверяет упругость мяса. Французик от удовольствия жмурится.

— Значит, завтра в пять у Румпельмайера?

И продолжает шопотом, удачно пользуя всезаглушающий рев самого горластого малайца.

— А после ко мне. У меня коллекция эротических гравюр. Уютно, свободно, по холостяцки.

Digitized by Google

Дама, сострадательная самаритянка, на все готова, лишь бы людям было легче жить. Не полагаясь на себя (сгодами: лысина, катарр желудка и ослабление памяти), француз записывает: „среда 5 ч. Madame Мариетта Кадык".

Сам Кадык огромный—бельмо и пакля в ноздрях кровавых—сидит недвижно, мраморная дева на Кампо-Санто. Вместо урны—ведерко Ирруа. Весь—скорбь. Можно ли в такие дни веселиться? Французику, который уже от ручки Мариетты дальше прополз в пухлые интимные залежи византийского добра:

— Monsieur, мы здесь ужинаем, хоть скромно, но прилично, а в России голод. Едят друг друга. Как же жить?..

Дева над могилой—почти классический шедевр. Сострадательный лакей обновляет урну, то-есть в ведерко ветавляет новую бутылку. Ломкий лед звенит. Не выдержав, Кадык уходит. Направо в кабинетике находит скромное бебе. За сто франков в пять минут бебе дает скорбному Кадыку простые идиллические утешения. Раз—прижаться, два—передохнуть... Кадык возвращается к столу просветленный, и, с уважением погладив собственный живот, заявляет французу:

— Эти разбойники продают англичанам товары, украденные у меня. Я про-те-стую! Законные претензии русской промышленности. Мы заставим всю Европу считаться с нами. Еще бутылку!

В урне лед. Но в сердце француза пламень. Француз почти—социалист. Он сам понимает: выше всего социальная справедливость. Но что же? Так обидеть эту миленькую даму, у которой в голове Анри де-Ренье и Дебюсси, а ниже теплые шедроты, этого кротчайшего рогоносца, вольнолюбца, идеалиста—так обидеть, отобрать бумаги, предприятия, даже три рояля, заставить скромно ужинать в „Монико", вести почти монашеский образ жизни... Нет, большевики не социалисты, а просто азиаты, „тартары"!

— Не беспокойтесь, друзья, мы вас не покинем. Франция на страже гуманности и справедливости. Я выступлю в палате. Доклад и смета. Вашему доброму гению, генералу... как имя?.. да—Врангель!—пошлем в Константинополь пароходы и снаряды. Тартаров перебьют. Ведь этот Врангель

Digitized by Google

тоже—я убежден—почти социалист. И вы, друзья, неправда ли? Со временем все разбогатеют и будет рай.

Слушая француза дородный князь Саб-Бабакин, писатель и председатель стонет. От горя породистые щеки виснут и ложатся на манишку. Знающие нравы русских бар и санбернаров ждут слюны. Ждут с основанием. Князь, подвыпив голосит:

— Все дело в улицах. Были: Хамовники, Плющиха, Молчановка, Курьи Ножки, Мертвый переулок, Челове-е-ек, селянка по московски! Осталась Лубянка. Щука по жидовски. Трудовая кость в горле. Татьяна! Лиза! Ася! Наташа! Чистые русские девушки! Где вы? Три сестры! Спасите!

И князь ложится на пол, предварительно стряхнув салфеткой пыль с коврика. Ползет на брюхе. Малайцы лают. Женщины склеенные все также бьются. Только метр д'отель, видя князя в странном положении, на лице изображает набожный, почти паломнический экстаз. А Саб-Бабакин расслабленный пищит.

— Разве это святая русская земля? Разве это тульская, рязанская, калужская? Разве здесь топали стопочки богородицыны? Челове-е-ек бутылку содовой!..

Князя подымает граф. Тоненький, руки, ноги—спички, а между спичками стеклянная пуговка жилета. Всё вместе—дипломат, советник посольства. Картавит, слаб, взволнован, если не поддерживать его яйцами в смятку, мартелевским коньяком и служебными повышеньями, может легко умереть. Смуту державы, то-есть чудовищные телеграммы в „Figarò" и увядание посольства с сокращением штатов, едва выдерживает. Был прежде тверд и горд. Заходя в консульство, оглядывал рой посетителей и чирикал секретарю:

— Зачем жидов пускать в Госсию? Употгебляют кговь. На счет жидовочек не говогите: бывают очень вкусные девченочки, гимназисточки. У лапсагдачника—опега.

Вначале революции поддался, не дожидаясь директив, сам кресло водрузил на стол, взлез и понатужившись снял со стенки самодержца в раме. На печатях орла старательно замазывал сургучем. Когда входил в посольство какой-нибудь с сомнительным носом, по всем данным употребляющий кровь, на всякий случай мурлыкал:

— „Отгечемся от стагого мига"...

Digitized by Google

Но вскоре опомнился. Прибыли из Москвы обиженные князь Саб-Бабакин, Кадык, другие. Слезами и шампанским затопили Париж. Советник понял—здесь не поможешь ни портретом, ни „отгечемся"—надо бороться. Сам пересылал различным генералам на юг, на север приветствия, инструкции и, разумеется, франчишки—под'емные, суточные, наградные. Ныне, совместно с прочими борцами из России учреждает „братство". Клятва кровью. Гибель или победа. Истреблять жидовских комиссаров оптом и поштучно. Для этого пришел сюда, усталый, далекий от светской жизни, любящий только престиж России, минеральную воду и семнадцатилетних девчоночек. Готов погибнуть. Обнимает Саб-Бабакина:

— Мы победим.

Малаец грозным гонгом как-бы предвидит в'езд в Кремль. Но Кадык взволнован подозрительно рассеянной икотой француза.

— Он нам очень нужен. Мариетта, ты его немного обработай...

Мариетта улыбается, загадочно, как Джиоконда. Помнит: завтра — Румпельмайер, гравюры, по холостецки, кажется утончен, знает все парижские моды: и так, и наоборот...

Всё в исправности. Лакей уже приносит десятую бутылку. Склеенные девы качаются. Но здесь заминка. Ждут кого-то очень важного. Без него одна закуска, то-есть парламентское негодование французика или Саб-Бабакин под столом лобызающий грязанскую. Он запоздал. И наконец-то с нежностью предельной:

— Высоков!

Лицо, как лицо. Такие лица, вроде смокингов—их изготовляют тысячами для всех порядочных мессье. Жидкие, закрученные усики. Плешь. Вежливая улыбка. Только свинцовые глаза напоминают о карьере. Как-то шутя Высоков ответил в анкете: „Род занятий—убийца". Не преувеличил: с семнадцати лет только этим и занимался,—был анархо-максималистом. Впрочем, сам никогда не убивал: грязно, марко, против Христа и красоты. Выбирал других—помельче. Подготовлял, доставал средства, бомбы, револьверы, выбирал жертву и после писал витиевато некрологи обоим—убитому сановнику, повешенному террористу: „Наказан разя-

Digitized by Google

щей дланью новый Калигула", „пал за народ светлый буревестник, мститель и мученик; почтим"... Вне дела был скрытен, мрачен, отсутствовал. Никто не знал, как он живет в антрактах. Говорили—женат на немке, пьет кюммель, закусывает килькой, немку бьет и взяв младенца на руки, баюкает, обливаясь слезами. Кто-то уверял: обожает цветы, дома—садоводство, особенно герань. Может, врали. Верно одно: сидит землистый, скучный, пьет кофе с молоком, а только заговорят "такого-то не мешало бы ухлопать" просыпается, ложечкой о чашку—звяк, и в свинцовых глазах круто замешанный, как каша, динамит.

Дождавшись Высокова, обрадовались. Только советник посольства трусит: всё еще не может привыкнуть к мысли, что Высоков теперь „совсем, совсем другой". Спички—ручки—ножки трясутся, как ветки на ветру. Излагают устав „братства". Высоков зевает. Цель?.. Ближе к делу! Устранять. Вот список самых важных. Высоков оживился. Предлагает:

— Назовем „Братство Христа, меча и революции".

Да, да революции! Он—революционер. И все здесь истинные революционеры, даже советник. Контр-революция в Кремле. Что же можно. Кадык не педант, о словах не стоит спорить. Главное устранять. Средства будут. Французы тоже поддержат. Если Высоков согласен—аванс на месте.

Согласен. Излагает план. Поедет немедленно в Россию. Через Варшаву—там связи, и французы прикажут, чтобы поляки помогли. (Почти социалист:—„Ну да, конечно").

В Москве идеалистическая молодежь. Наберет „пятерки". Каждая пятерка устраняет одного. Руководство Высокова. Расходы: дорога, содержание восемнадцати „пятерок", подготовка актов и прочее... Примерно, с карандашиком, восемьсот тысяч франков.

Общий восторг. Лакеи, почуяв торжественность минуты, тащат гуртом пять бутылок. Кадык шепчется с французом, считает, обдумывает. Наконец, вынув из кармана голубенькую книжку выписывает чек—„пред'явителю 100.000" аванс.

Саб-Бабакин от избытка шампанского и патетических переживаний окончательно одурел. Требует детский стульчик и чашку теплого молочка. Становится на колени.

— Я с женой и с детками, мы будем о вас каждый вечер молиться.

Digitized by Google

Высоков, чуть усмехнувшись:

— Спасибо. Молитесь Христу. Люблю Христа. Особенно за то, что пустил к себе детей. Высшая невинность. Во имя Христа пролью кровь. Не мир, но меч.

Советник, все еще не успокоившись, лепечет:

— Кровь? Как страшно! Он прольет кровь!..

Мариетта:

— Да, да! Много крови!

И в неге шепчет французику, среди дел не забывающему прижать, примять, и прочее:

— У Румпельмайера...

Саб-Бабакин хочет поцеловать Высокова. Нет! Брезгливо усмехаясь, Высоков встает:

— Спокойной ночи. Мне пора.

В глазах свинцовая невеселая радость:

— Восемнадцать устраню.

Качаются девицы. Мяукает труба. Негр вертит зеркальные двери, среди зеркал, как в лабиринте, шагает, путаясь, грустя о черной Африке.

На улице промозглый рассвет. Отовсюду течет. Рабочий злобно ругается. Воз с репой. Жизнь. В кармане Высокова — чек, узел многих жизней. Презирает всех—и пивших в „Монико“, и тех в Кремле, и неизвестных, которых пошлет убить, и эту репу. Скучно! Позевывая, затягивается египетской приторной папироской:

— Надоело!.. Если бы кто нибудь знал как надоело! Впрочем устраню!

20

Два месяца спустя, в февральский вечер, когда в Париже мокрый ветер с Ламанша вдувал в сердца весну и грусть, когда на асфальтах бульвара ежились груды мимоз, когда нежнейший негр у входа в „Монико“ уже начинал кружиться в чаще зеркал, по глухим сугробам Спиридоновки, перебираясь с горба на горб, брел скромный старичек.

Подошел к домику, жалкому, плюгавому. Забор пожрали спиридоновские печурки. Сугробы домик затолкали, как старушку в очереди. Вошел в незапертую дверь, с минуту

Digitized by Google

потанцовал на льду площадки, не выдержав, упал. Раздался „чорт“, довольно юный и задорный, кого-то пробудивший. Вышли. Зашамкали. Старичка втолкнули в большую комнату. Пусто. У окна ящик, на нем громадная голубоватая картофелина, книжка потрепанная и флакон от духов, превращенный в чадный светильник, и еще, в углу — подобие кровати. Старичек вгляделся, остолбенел. Среди меха бушевали синие озера глаз. Глухой, грудной голос:

— Садитесь. Сюда. Стульев нет.

— Вы, Екатерина Алексеевна Чувашева?

— Да.

— Я к Вам от Веры Лерс. Вы знаете в чем дело?

— Знаю. Говорите, здесь никто не услышит.

Старичек, обремененный паклей бороды и разными мандатами, преобразился. В комнате сидел Высоков, равно безразличный к шику „Монико“ и к нищете спиридоновского логова, занятый одним „скорей бы убить“, ненавидящий эту холодную сугробную страну, где чавкают и шамкают, где убивают с неохотой, нудно, медленно.

И все же даже Высоков, увидев Катю, несколько смутился. Он любил давить своими стопудовыми, свинцовыми глазищами различные фарфоровые глазки, чтобы пугались, отвертывались, знали: мы бирюльки, Высоков — смерть. Катя не отвернулась. Вместо фарфора зияла чудовищная глубь: я верю, я убью, но я тебя, я всех вас затащу с собою вниз, где свежесть, правда, тишина. Это было не по вкусу. Девченка и смеет так смотреть. Порадовавшись бороде, которая скрыла некоторые мелкие движения взволнованного подбородка, Высоков решил впредь не глядеть. Взял с ящика книжку. Оказался — Лермонтов. Буквы смесились в ледники, в синь глаз, в провал. Отбросил. И уж не глядя ни на что, опустив тяжелые лимонные веки, стал излагать суть дела. Катя слушала. В такт словам, крылья бровей вздымались, сбирались, бились, как бы заполняя комнату ветром, беспокойством, готовностью сейчас,—да, да, сейчас! не завтра—сделать все.

Это знали с детства, то есть брови, тревогу и готовность. Первой узнала мать в испуганной смуглянке, прибежавшей ночью с маленьким дессертным ножиком, готовою оградить маму от гадкого нотариуса, от кашля, от смерти, которая

Digitized by Google

приходит, как в сказках Андерсена, взять душу — тогда ведь надо петь или умереть самой. Семилетняя Катя пела: „дети, в школу собирайтесь", единственное, что знала, и много раз, ложась на стол, как это сделала мертвенькая бабушка, пыталась умереть за маму, но ничего не выходило. Мать свою, болезненную вдову полковника Чувашева, погибшего при Мукдене, любила исступленно. Не игры, не игрушки: могла всю жизнь дышать этим сладким запахом полутемной с синими шторами спальни, с настоем камфары, валерьяновых капель, нафталина и сухих пучков мяты в шкафу среди белья. Жили бедно, но с достоинством, то есть: крахмальные накидки на подушках, батюшка в Крещенье, копейку нищему, Кате — воспитание. Какой-то злой дух, страшней кощея,—нотариус, маме писал шершавые, противные письма. Требовал денег. Мама плакала: опишут обстановку, бабушкино серебро. Катя думала, что „обстановка" это—самое прекрасное—то-есть полочка над умывальником с лекарствами, с облатками в коробочках, на которых не абудки и цыплята, с пилюлями в серебряных баночках, с булькающими бутылочками, таинственно шелестящими крыльями рецептов. Если это опишут, а опишут, значит — отнимут (так мама сказала), нечем будет смерть отпугнуть и мама ляжет на стол, скрестивши руки. Уж лучше бы бабушкино серебро, это вроде пятачка, который ей дали раз на именины, (купила карамель „короля сиамского" десять конфект). Это—ничего. Так думала. Когда же злой дух пришел за обстановкой, храбро выбежала в маминой ночной рубашке, волочащейся по полу:

— Оставьте обстановку! Опишите меня!

Опишет — унесет. Рубашка, как мешок. За плечи — врачке-китайцу в узел с грязным бельем, потом в Китай, там говорят по-утиному и стегают пятки возжами—как извозчики лошадей—больно, но пусть, все равно, только бы не обстановку!

Вместе—слабость, послушливость, дрожь в углу, зарывание в одеяло, в мамины колени и своенравность, бунт от отчаяния. Когда кивками и слезами вдова Чувашева пристроила Катю в Александро-Мариинский институт—покорилась. Было ей уже десять лет, понимала—иначе нельзя. Но вот завтра утром, в восемь, расстаться с мамой!.. Всю ночь

Digitized by Google

не спала, как бы погибая, ловила знакомые шорохи, покряхтывание мамы, запахи — бальзама и воска (натирали накануне пол). Уж шторы темно-синие заголубели. Обозначился рассвет. Тогда—восстание. Не выдержала хода часов, неумолимого тик—така стенных, с боем, из таинственной „обстановки". Встала тихо-тихо, стул подставила, и, торжествуя, вырвала у времени, у некоего чудовища, которое знает: сегодня с мамой,—бальзам и ласка шафранных, от худобы дребезжащих рук, а завтра—институт, беленые стены, смерть, у этакого чудовища вырвала медный язык, страшный маятник. Упала. Жар. Пролежала три недели.

Потом — действительно беленые стены, послушание, послушничество. Обет—маму не огорчать.

Новые страсти: „Демон" Лермонтова, пролетевший в третьем классе на уроке русского языка. Лед. Синева. И одинокий—страшнее, чем среди беленых стен, никто не проведет горячей слабой ручкой по звонкому лиловому крылу. Недоумение—как же Тамара его не полюбила, не спасла? Дикое открытие: в глазах Владимира Кузьмича—учителя русского языка—демонова грусть. Старшие шушукались, рисуя цветными карандашами мясистый, по-индюковски багровый нос Владимира Кузьмича—пьет тихонько водку на черной лестнице, жена за это бьет его шваброй и щелкает по носу. Знала—ложь: если охрипший и опухший—от ночных видений, от сакли, лика и Тамары. Весь класс, регулярно, не уставая, издевался над Владимиром Кузьмичем. Как-то пришел особенно красный, сиплый, чудной. Грохот хохота—без галстука! Потерял на лестнице, под шваброй лежал—вот что! Хи-хи! Летят бумажные стрелы, жеванная промокашка, корки мандаринов. Владимир Кузьмич:

— Дети, почему вы смеетесь? а? смешно? А мне очень, о-чень грустно...

Катя выбежала:

— Нежный! Демон!

И на колени.

— Вы ведь галстук обронили ночью, летая... Лед и синева...

— Галстук?

Владимир Кузьмич виновато за шею схватился, хмыкнул, помолчал. Потом вдруг озлился:

Digitized by Google

— Да, как ты смеешь? Невоспитанная девчонка! Мне читать нотации!..

А Катя по-прежнему на коленях, сжав ручонки. В глазах— экстаз и обреченность. Наказали: за грубость воспитателям. Подруги дразнили—что? хотела выслужиться? одна и против класса, вот посиди-ка воскресенье за французскими спряжениями, никто не поможет, не принесет тихонько пирожка, не пожалеет—презренная, забытая, одна. Но Катя, причастия переписывая, торжествовала: она остановила оскорбление. Помогла ему. Собой покрыла. Он не знает. Бродит отвергнуты. Если бы она была Тамарой, или, по крайней мере, женой со шваброй — не отвергла бы никогда, никогда не обижала бы—приняла такого, с красным носом. Но что она могла, в пустом чернильном классе, с пудрой меловой на партах и на фартуке, что? Было Кате тогда двенадцать лет.

Любовь к подруге, к очень аккуратной Лизе Волочинской. Сначала Лизе—пирожки, переводные картинки, ленточки. Принимала, как должное, Катю звала „овцой" и заставляла делать несуразности: в переменках прикидываться нищенкой, во время уроков закона божьего кричать „шалды балды", как индюшка, становиться в дортуаре перед Лизой на колени и, целуя кончик форменного передника, лепетать: „я ваш паж". В пятом классе—испытание любви. У княжны Белецкой пропал медальон. Решили обыскать. Лиза, от досады чуть покраснев, сунула платочек с медальоном под подушку Кати:

— Скажешь, что ты. Тебе удобнее. А то меня папа оставит без подарка, скоро именины.

Катя только мгновенным загибом губ радость выдала: она помóжет Лизе! Нашли и начали часами допрашивать, с вывертом, нащупывая там и здесь—зачем? кому? — грозить, оплакивать. Отсадили в отдельную комнату — других не заразила б. Вызвали вдову Чувашеву, и мама принесла в торжественную приемную с царицами и с птицами родимый запах камфары от ваты в ухе, яичного мыла, терпких слез. Так плакала! Заклинала Катю покаяться—ее хоть пожалеть, быть честной, как отец! Катя не поддавалась. Целый день—(почти по Ломброзо)—взгляд исподлобья, хмурая усмешка, молчание или ложь, только на минуту, забегая в раздевальную, прячась под большую шубу Владимира Кузьмича, пре-

Digitized by Google

ображалась. Синие глаза ужасно веселились, и губы, еще надутые по детски, вздували шкуру кенгуру: „Ли-за, Л-и-и-за“...

Кое-как, снисходя к слезливости вдовы Чувашевой и к Мукдену, Катю оставили, но еще долго на нее из корридоров, из приоткрытых дверей учительской, из роя расшалившихся подруг выбегало: „воровка“!

Сны ветвились. То пожар выталкивал на языках, шипя и злясь, Жанну Д'Арк, с узкими, дрожащими плечами, как у Кати, то огромным небосводом расстилался прадедамовый платок, в который куталась, все победив (что точно—Катя не понимала), Сонечка Мармеладова. Как у других растет годами воля схватить, зажать в кулак, успеть сглотнуть сердце, деньги, счастье, руки крючками костенеют, отшлифованный язык готов зарезать, так Катя зрела среди стен и снов, кидаясь от „Мцырей“ до высокомерия Лизы, для какого-то совсем простого часа: ляжет, не скажет ничего, возьмут, вытопчут и бросят. Думая об этом, тихо радовалась.

Владимир Кузьмич остался где-то на полустанке, среди детских лет, вместе с нотариусом и вырванным маятником.

Но на выпускном балу демонова грусть вновь выпорхнула из серых глаз сумца фон-Люца. Фон-Люц после третьего тура вальса сказал:

—В вас нечто того... Сегодня весенний день. Я утром вышел на Кузнецкий и опьянел от воздуха. У Дациаро прекрасные гравюры. Екатерина Алексеевна, если бы вы знали, до чего я одинок!..

Снова вальс качал. Как бы тонули вместе. Он честной мужской, мужественной лапой хватался за ее талию, за дощечку, за слово ласки. Волны же росли. Нет, Катя не Тамара! Она готова.

Вскоре фон-Люц зачастил в квартирку Чувашевых. К прежним звукам, знакомым с детства, прибавились героически-боевое звяканье шпор и в темно-синей спальне выкашлянное мамой шепотливое домашнее словечко „что-ж—женишок“. Кате был он то Карлом—поведет его в Реймс, то милым нелепым мальчиком—заботливо думала, как спит, не жестко ли, кто стелет ему постель, ведь одинок, сам говорил—и узенькие груди от нежности гудели.

Наконец, фон-Люц, не выдержав, упал перед Катей на

Digitized by Google

колени, рослый, косолапый. Зазвенели на полочках китайские вазочки, пастушки, графинчики и прочее. Сердце Кати тоже зазвенело. Фон-Люц рявкнул, красноречием не отличаясь:

— Я вас люблю... Вообще... того...

И Кате в этом „вообще“ послышалось дрожание звездных, туго натянутых струн, ропотный утробный ключ всех человеческих признаний, от пеленочного „мама“ до смертного „прощай“, звон, гуд, итальянская речь Петрарки.

А вечером явилась Лиза. Слегка всплакнула, аккуратно припудрила порозовевший носик и сказала:

— Он тебе не партия. Поиграет с тобой и бросит. А я его люблю и это очень, слышишь, очень серьезно. Если святость нашей дружбы—не фраза, ты должна уступить его мне. Понимаешь?

В Кате все столкнулось, заходило: медвежья ласка, звяканье на полке и под корсажем радость выплеснуть себя—ну, что же, пусть бросит, должен бросить—и счастье заслонить собою Лизу, гордую, величественную Лизу, которая прежде позволяла только целовать край передника. Такую вот, любимую, прекрасную—ее спасти!

Ночью Катя лежала на диванчике, свернувшись клубочком, и не было костра, даже прадедамового платка не было. В памяти замирали глухо шпоры и „вообще“. Деревенела.

Месяц спустя, принарядившись, прибрав лицо, чтобы было праздничным, Катя пошла в церковь: венчали Лизу и фон-Люца. Сумец смущенно улыбнулся—от счастья: теперь не одинок! Она ведь будет на балу? Он ангажирует ее на первую кадриль. С Лизой поцеловались. Катю обдал холодок румяной, фарфоровой щеки, в блаженстве она глаза закрыла. Казалось батюшка рыком медным (но и медовым) зарычит:

— Воровка! Где медальон?

И это было слаще колокольцев шпор, итальянской речи, сухого дребезжания поцелуев, слаще всего.

Дома мама, лёжа, обложенная банками, и горчичниками, кряхтя, поплакавши, покашлявши, высморкавшись, выложила Кате свое житейское, простое:

— А женишек-то оказался обманщиком...

Катю прорвало.

Digitized by Google

— Не смеешь! Я сама обманщица! Ты низко судишь! Ты низкая!

В ответ лишь плач и кашель. Катя в ужасе—что я наделала!—трет мазью желтую запавшую грудь, с диким рвением трет, будто резинкой стирает гадкие слова.

— Мама, мамочка, прости!..

Вскоре в этом, то-есть в мазях и в микстурах, очутилась вся жизнь. Маме—хуже с каждым днем: двадцать старых выхоленных болезней, спевшись друг с другом, принялись догладывать тощее сморщенное тельце. Больше не вставала. Не раздвигали штор. Вся аптечка над умывальником была мобилизована, и Катю захлестывали волны знакомых с детства запахов. Жизнь кончалась на пороге комнатки, и клочья каких-то событий (шла давно война), долетали, как долетает в открытую фортку гуд трамвая или крик газетчика. Здесь были свои великие события: в левом боку начало колоть, температура поднялась на три десятых, сказать доктору Фуксу, что мазь не помогает, попробовать пилюли, понатужась, позвать профессора Игланова и, сжимая в кулаке конверт с двадцати-пяти рублевкой, подслушивать сквозь дверную щелку, как он цедит небрежно почтительному Фуксу:

— Разумеется... возможно... всякое бывает...

Пока мама дремала, Катя тщательно мучила себя: вот ей сказала „низкая“, вот этой под одеялом, вот этой—маме, ей!.. Как искупить такое? И дальше выползали просьбы мамы в институтской приемной, бедной мамы, заплаканной, в заплатанной шубенке, со слезшей на бок шляпкой, под насмешливыми взглядами классных дам, неисполненные просьбы: „признайся“—и Катино сухое, хрусткое молчание. Кивали хвостиками, как в траве юркие гадюки, детские проказы, шалости, обиды. Нет, всего не искупить, даже не вспомнить! Бас профессора гремел одним глухим и страшным: „поздно“.

Мама умерла в Троицын день. Умерла невыразительно раз только кашлянув, сухой шафранной ручкой в изнеможении зачерпнув пену простынь.

Когда Катя на кашель подбежала—всё было кончено. Из угла, темносинего, как прочее, выплыл теплый, весь залитый медом лампадки. Желтый, как ручки мамы. Живой.

Digitized by Google

Месяцы неистового поклонения, в пустых комнатах с неподнятыми шторами, с невыветренным духом камфары, поклонения, обмирания, свиданий под иконой. Сначала просто—к нему, как спину к печке, как вечером к подушке: сон, тепло. Но вскоре Кате захотелось иного. Как? Только брать? Лик в углу прояснился, стал лицом, на желтом, измученном проступили сгустки крови, ломовой тяжелый пот. Начался мучительный роман. Порой, когда сквозь щель в темносиний угол врывался белый жесткий луч, Христос вставал морозный и суровый: истец, ревнивец, счет язв, гвоздей, ступенек к Понтию. Катя тоже вся белела от ярости и срама. Отцу Василию, отрыгавшему вместе с квасным газом „достойно есть" выкрикивала:

— Как? Апостолы? Святые? Но им ведь легко было уверовать—они его видали. Видали и предали. Не заступились, не пытались отбить у стражи, вместе умереть. Хорошо — Христос сказал: „вложи твой меч". Он мог сказать, он мог даже пожалеть об отрубленном ухе. Но если они—апостолы, подобранные на дороге, как псы, его любили, они должны были ослушаться: „Нет, Господи, живые тебя не предадим". Нет, эти не любили... Если бы я жила тогда...

Слыша столь еретические речи, отец Василий, забывая о „достойно", напротив, испуганно кряхтел:

— Недостойно! Недостойно осквернять уста хулой. Не нам судить святителей, не нам, не греховодникам...

И взрыв кваса (хлебный, с изюмом).

Ночью Спаситель смягчался. Катя иконы натирала маслом. Он обливался потом, как будто крест еще лежал на стянутых в узел плечах. Молил о подмоге. Умирал — ежевечерне, в темносинем углу. И Катя не могла помочь. Только билась в углу. Иногда под утро, его рука прохладная и бережная ложилась на выпуклый, тревогой распираемый лоб. Тогда засыпала.

Кроме этих страшных свиданий, после которых днем от пола приподымались ноги, как будто они легче воздуха и должны лететь, горячие ладони жгли, пустая голова катилась шаром, кроме ночных часов, существовали дни. Катя служила приказчицей в перчаточном магазине. Знала руки: холодные и длинные—модниц, со штыками ногтей, готовых разорвать лайку, сердце любовника и прочее, что только

Digitized by Google

под рукой; мокренькие—сластолюбцев, мимоходом старавшихся руку Кати, цапнув, увлажнить; деловые — крючки, чтобы хватать, сжимать бумаги, отсчитывать; пухлые с ямочками, где можно хранить густые сливки, эти — законных жен; волосатые—мигом пращура припомнив, подступят к чьей нибудь лилейной шейке; много рук. Покорно подбирала по номеру и цвету, слыла на редкость исправной, к тому же красотой привлекая офицеров, покупавших сверх всякой нормы, целые коллекции.

Так—до скандала. Два гвардейца выбирали лайковые белые. Катя помогла натянуть на твердые сухие пальцы. Один другому:

— Он мне „никак нет". Но я, вы знаете, человек гуманный, его бы под суд и finis. А я, так сказать, в intimité. Ррраз. Рука у меня как будто женская. Перчатки $6^1/_2$. А он огромный, настоящий варвар, скиф. Но ловкость—всё. Два зуба—мигом, как дантист, без хлороформа. Теперь поумнел. Вот только стал шепелявить. Ужасно неприятно. Ко мне приходит, entre nous, Ниночка из Михайловского—она не может слышать: какой то свист, а не слова...

И Кате:

— Mademoiselle, покажите мне теперь пару замшевых, беж.

Но вместо замшевых, беж, Катя белыми, лайковыми, всей связкой—по щеке. Четко, громко, среди обалдевшей публики. Гвардеец от неожиданной боли выронил слезу и убежал. Катю прогнали. Стала искать места. Но трудно было. Кругом шло нечто неладное. Оказалось: революция.

Катя долго не замечала. Даже бои под самым домом у Никитских ее не разбудили. Стало жить труднее и это ей нравилось—какой-то общий непрерывный пост пред желтым потным ликом. Вместо перчаточного магазина, очутилась в длинной комнате, должна была бумажки нумеровать и нумера записывать в книгу. Длинную комнату звали на иностранный лад „Музо". Прошло два года. Могло пройти и десять. У Кати было много глаз внутри, глухих, утробных, а синие большие видали вещи по особому: проглядывая жизнь; всё вместе—и пустяк, желтый лик и номер „исходящей."

Digitized by Google

Так до декабрьского куцего денька. Из „Музо“ Катя повернула в Кривоарбатский переулок, где жил советчик братец Нади -поговорить: томило—правильно ли живет?

В комнате стоял густой, горячий пар, как в бане: Наум лил на печурку воду, чтобы согреться. От пара у Кати загудели виски, дух захватило, села. слабея, на полено, в пустоту: даже лицо Наума едва-едва розовело. Сидел он в кожухе и пил из огромной бутыли какую-то микстуру. На минуту, пробивая пары, нос Катин щекотнул запах лака, как в столярной мастерской. Пил микстуру и торжественно, богослужебно кряхтел, чем дальше, тем сильнее.

— Как жить?..

Спросил—где служит? какой паек? подсолнечному, выданному к праздникам, позавидовал. Но вдруг, кончив бутыль, и обдав еще одним ковшом воды, накаленную до бела, печурку, преобразился. Голос стал глухим, далеким, как будто вокруг Кати не пар, а Саваофа облака, слова—зычными и праздничными, давно забытыми в „Музо“ - весь Наум грозным пророком, пусть из младших—Михеем или Наумом. Длань подняв, стал Катю обличать, на ты, сурово и величественно:

— Недостойная, как живешь? В мерзости—вот как! Златом искусилась, пайком, подсолнечным. Не только веру не защищаешь, но усердно служишь гонителям иудам, иродам—тьфу! тьфу! Спаситель, гонимый, ходит из града в град. А ты?.. Бумаги нумеруешь! С Богоматери сдирают последнюю рубашку, ризы с пречистых образов, китайцам на потребу. Знамения даны. Когда убиенный цесаревич лежал в пещере, кровью обливаясь, прилетела голубица, по человечьему рекла:

— Восстань и царствуй!

Затем и унесла его на крылышках. В Тамбовской, под Успенье—об'явилась; на лбу покаявшегося разбойника. вместо сатанинской звезды, загорелся животворящий крест. Когда к святым мощам прикасались святотатцы, шли с неба громы и стенания. Не слышишь, что ли? Или—маловерка? Нет, слышишь, знаешь, но Господа нашего предаешь на поругание, благочестивых монахов, старцев, жен православных, младенчиков безвинных на страсти неслыханные, в чеку. Все за паек. Изыди несчастная!

Digitized by Google

Катя не оправдывалась, не просила о пощаде. Встала. Вышла. Из бани—в морозный пар. Где-то на бульваре присела, не зная холода и ночи. Быстро, очень быстро в душе росло огромное и страшное, разрывая крыльями грудную клетку, когтями впиваясь в мясо. Почти физическая боль. В двадцать два года Катя оставалась все той же девочкой, считавшей когда-то нотариуса злым духом, а Владимира Кузмича прекрасным демоном. Житейского, презренного, смешного в пророчествах Наума она не разглядела, не задумалась—зачем же Наркомнац? Духа политуры не разгадала. Да если бы поняла и разгадала—все равно сидела бы на бульваре, свою вину вынашивая. Верить мало. Нужны—дела. И снова встало, на этот раз возмужав, захлестывая целый мир, искушение—отдать себя, погибнуть, изойти в любви. Вспомнила: два года—чужие обиды, шопоты, вздохи вокруг и рядом, как у вдовы Башмаковой реквизировали комнату и, сидя на приступочке, вдова плакала, как у Щедровых расстреляли сына, только карточка осталась—курносый гимназистик, как горевали монахини Девичьего—кельи оскверняют. И много щек заплаканных, изъеденных слезами, будто железо ржавью—слились в одно лицо, закапленое маслом в темно-синей спальне над мамой, скрестившей мирно руки. Нет, Катя меча не вложит, не простит!.. Даже если он, изгнанный из храмов, дрожащий где-то здесь в снегах бульвара, даже если он попросит—не простит. Убьет.

Дальше—недели, месяцы. „Музо“ и номера. В голове спирали сложных планов.—Кого? Когда? И как? Одной не справиться. Что у нее?—Руки и страсть. Хоть бы кто-нибудь пришел, направил, приказал. Пробовала заговорить с братцем Наумом, но тот, отнекиваясь, жаловался на ревматические боли, больше на пророка не походил:.

— Смирение. Что ж, я служу в Наркомнаце. Паек улучшили. Зачем Господа Бога гневить?..

А Катя все ждала. Засыпала с одним—„убью“, и это было как касание крыл голубицы, унесшей цесаревича. Просыпаясь, сразу вскакивала от испуга, будто кто-то стучится в дверь: надо убить, сегодня, сейчас! Порой, отчаявшись, выходила на улицу—искать главного виновника и револьвер. Вглядывалась жадно в лица прохожих—

Digitized by Google

может, этот? Но люди шли мимо, с портфелями, с кулями, деловые, озлобленные, голодные, мимо, все. Никто не подавал ей знака.

Помощь пришла негаданно. Как-то Катя в церкви Бориса и Глеба встретилась с товаркой по институту, Верой Лерс. Вера зазвала к себе. Средь болтовни о продуктах—где и сколько—вздохнула.

— Видела, сегодня в „Известиях“—снова список расстрелянных? Назначили известного садиста Курбова, он об'явил массовый террор. Что же будет?..

Катя резко отсекла:

— Жаловаться мало. Надо судить и мстить.

Вера взглянула внимательно на угрожающие лавины бровей. Взяла Катю за тоненькую, с синью жилок руку (сидели рядом на диване) погладила и просто, очень просто, не отпуская глазами глаз, спросила:

— Хочешь?

— Хочу.

И записав на кухонном столе „Спиридоновка, д. 18, кв. 2“, быстро снялась. О чем же еще говорить? Скорей бы!..

На следующий день в большой пустой комнате угрюмый Высоков повторял:

— Скорей бы!

Изложил подробно. Здесь были: Христос, Антихрист, искупление. Жертва, с детства лежавшая под спудом, в томах или в туманах церковных кадильниц, теперь услужливо и деловито предлагалась, как чашка чая:

— Хотите устранить крупного чекиста?

Означало: убить себя, отдать себя за бездомную вдову, за мать расстрелянного, за монахинь из Девичьего, за всех. И никогда ничье любовное, пленительное, под луной, среди сирени, не звучало так нежно, как это „да“.

— Наше братство: „Христа, меча и революции“. Раскиданы повсюду „пятерки“—устранять самых опасных и виновных. Потом—восстание. Все подчинены мне. В четверг соберется ваша „пятерка“, вернее наша—я сам в нее войду, помочь и прочее.

Высказав, Высоков погладил осторожно паклю на подбородке, церемонно поклонился, как танцор после кадрили, и вышел. Удачный день! Ведь никаких „пятерок“ больше

Digitized by Google

не имелось. Вера—молодец. Такую девушку выкопала. Юдифь, к тому же почти что в колыбели. Это именно и надо. Клад! Представил, как напишет некролог: „когда страна под игом захватчиков позорно цепенела, поднялся мститель—слабая девушка, она покарала тирана". Прекрасно! От нахлынувшего упоения разошелся и ударил какой-то еще неразобранный на топливо забор. Посыпался густо снег, и где-то отощавший пес, почти по-русски завыл: „ба-а-а-тюшки". Впрочем Высоков тотчас же опомнился, стряхнув снег с шубы, побрел к Вере Лерс—пить настоящий чай и спать.

Катя же, забившись в угол, всю ночь сидела, глядя на тонкий, желтый огонек светильника. Подрагивая, пытаясь сняться с места, свет жил мучительной и дикой жизнью. К рассвету, когда зрачки Кати расширились и затемнели, он стал любимым ликом: вытянулся, распластался на кресте. Катя тогда взглянула на свою руку. Как будто ее и не видала прежде. Весь смысл и пафос сосредоточились вот в этой слабенькой, готовой, как ветка, подломиться, ручке. Ее погладила, особенно погладила Вера Лерс. Жал почтительно и многозначительно Высоков. Эта рука – „пятерка"—она уже не Катина, но некая, отдельная, величественная в слабости. И Катя с уважением на нее взирала Ею сразит. Наум тогда поймет, что выводившая номера в „Музо" и запятнанная советскими чернилами, как кровью—смогла преобразиться. Осторожно Катя подняла ее, и с силой опустила, будто гимнастику делала. Огонек светильника заметался, не выдержал, улетел. Но на дворе уже возилось утро, и с иконы глядел суровый в инее синего света, по древнему грозя. Катя перед ним упала.

21.

Высоков пришел первым. Вскоре вслед за ним, на катке затанцовал пузатый в кожухе. Но, шлепнувшись, он чорта не поминал. Напротив, потирая пузо, вздохнул благообразно:

— Господи Иисусе!

Катя от изумления привстала: пузо, размотав широкий заиндевевший шарф, оказалось Наумом. И он в „пятерке"!

Digitized by Google

„Не мир, но меч". Смиренно поцеловала замерзшую, несгибающуюся руку, похожую на мороженую рыбу. Наум присел, на подобие кровати, и стал вздыхать во всю, сему занятию отдаваясь с исключительной любовью. Высокову это не нравилось: предпочитал слова.

— Что скажете, братец?

Ответил не сразу, для солидности еще немного повздыхал:

— В наркомнаце сокращение штатов. Жиденок Кац из комячейки сказал: уволю. Что же делать?

Высоков подсел поближе, шубу распахнул и жестом фокусника выковырнул из свисающего животика пачку „царских". Наум промолвил:

— Оно конечно...

Подышал на твердый палец, бумажки пересчитал. После сего вздохи участились, но стали мягче, задушевнее, как-то музыкальнее. Высоков, скучая, вздумал — сладость мига несколько подгорчить:

— Так-то! А вы знаете, что я социалист? Если понадобится, и вы социалистом станете.

— Оно конечно...

Катя, однажды видавшая братца Наума пророком, вспомнив пар, длань и рык, не могла перенести высоковских насмешек. Строго:

— Перестаньте! слышите—сейчас же перестаньте!

Привыкший приказывать Высоков смутился, испугался вот этой Юдифи в колыбели. Но тотчас же своего смущения устыдился. Процедил:

— Предрассудки.

И принялся себя утешать обстоятельствами на редкость сладкими: револьвер, убьет, потом ее, утречком, в прохладе, к стенке, трук-тук-тук. Хорошо! Когда убивают—свежесть, легкость, как будто принимаешь ванну из нарзана, булькание, пузырики кружатся, роятся... Но даже это не помогло. Высоков был явно мрачен. Не без причины. Вчера связался с какой-то девкой. Завела к себе. Ночью борода Высокова при интимных обстоятельствах отделилась. Пришлось наполовину признаться. Девка—дура, зачарована словечками и прочим не словесным. Но все же—неприятный инцидент. Сегодня, кроме боли в ногах, (недоспанное)—перемена масти. Уж не сморчок седой, но молодой брюнет греческого

Digitized by Google

типа. Девченка встречная так соблазнилась, что выронила кулек с пшеном и, предоставив зерна птицам божьим, сама стала упрашивать Высокова зайти: недалеко, в комнате тепло... Нет, не пошел—устал. И надоело. Довольно. Пора за дело! Из Парижа торопят...

А пузо снова возобновило вздохи и в тишине, кружась от строгой Кати до Высокова, налитого по темя тяжелой, как бы бурой колбасной кровью, вздохи эти мнились долгим ветром, ходом часов, великой мерой времени. Наум вздыхал по многому. Во первых, был он очень толст, и от малейшего волнения сало колыхалось, не давало дыха. Во вторых, и это, конечно, главное—он томился, слабый человек, придавленный помпезностью творимой истории. Различные дикие стихии смесились, где-то под кожухом, под грязной рыжей рубахой, под волосатой грудью, слишком много стихий для бедного братца, любившего всего больше в золотые времена старого „прижима“ лавочника Синегубова обыгрывать в дамки, попивая при этом чаек с наложенным, примерно до половины чашки, вареньем из райских яблочек. Ненависть. Ведь в вечер, столь памятный Кате, отнюдь не лгал,— раскрылся. Коммунистов ненавидел, так что ночью. проснувшись и вспомнив остренькое личико жидочка Каца, начинал от ярости скрипеть крупными лошадиными зубами, „вот я тебе“, столь выразительно, что сосед за стеной, бывший лабазник, а ныне инструктор наркомпроса стучал—спать мешают. Как не ненавидеть? Господа распяли. Мощи святителя Трифона осквернили. Кац в наркомнаце, маленький и юркий, подойдет к Науму вплотную, нагнет плешивую головку, как будто ею хочет боднуть задушевное пузо и закартавит „соккатим“, так что без чаю с вареньем, напротив, в нетопленном наркомнаце и то пот-ведром. Ну, как не ненавидеть? Далее—стихия героическая. Он—простой, пузатый, склонный вылокать бутыль политуры и дуру бабу вместо грелки под бок подложить, пугая адом, но и прощупывая всячески, он—греховодник, мелкота над шашечницей, всеми презираемый советчик, когда отцы и пастыри немотствовали, гнули выи, осмелел, вступился за Христа, поднял глас и длань. От этой мысли молодел, преображался в хохлатого паренька, однажды некоему приказчику весьма патетично свернувшего гнусные скулы. Примеры из священной

Digitized by Google

истории: Скованного приведут в Кремль. Он извергу Ленину судьбы откроет, как отрок Даниил. (Наум чувствовал себя действительно отроком стройным и прекрасным). Кинут в печь. Хотел представить пытку, мучение, ожоги, Но вместо этого вздыхал, удовлетворенный—тепло любил до крайности, и очутиться в печи, после нетопленной комнаты Кати, казалось, райской усладой. Как будто внутри рябиновка, а под боками две бабы сразу, для равномерного согревания и живого урока пышной многоликости природы. Так незаметно героизм переходил в уют. Проступала под кожухом высоковская пачка. Пятьдесят — все новенькие, хрусткие. За одну—и дров, чтобы согреться лучше Даниила, и спирту чистого и на Смоленском фунт сала, а еще в запасе сорок девять. От таких предчувствий пузо торжественно вставало дыбом. А бабы? Бабы безвозмездно—за советы. С ними выспится. Спит. Вдрук стук. „Здесь сотрудник наркомнаца, Наум Скворцов?“. Прямо на Лубянку! Ни Кремля, ни пророчеств, ни печи. Подвал. Мороз (кожух—и тот ироды снимут). Китайцы—шилом в пуп. Ух! Наум дрожал и вздыхал, так страшно вздыхал, что Высоков, переживая некролог, дергался, будто у него нервный тик. Пачка томила пузо. Наконец, последнее сомнение: кто знает? что если бумажки поддельные, большевистские? говорили, будто новых не берут, слишком уж скрипучие—подвох.

Хотел было отозвать Высокова, отдать, отговориться как нибудь, ну, скажем, ревматизмом. Не успел. В комнату ввалились двое: толстый представительный усач, и маленький кривой, но очень юркий, сразу одним правым глазом ощупавший все, вплоть до пуза Наума, на котором ютилась пачка „царских“. Решил прождать.

Юркий уже вился возле Кати, гнусавя „мамзель“. Был это маститый „тараканщик“, меховщик, то-есть специалист по части шуб, а также ротонд — Пелагея. Его биография по античному проста, ясна, монументальна. В воспитательном—щипки. Парикмахерская Леона, где юный Пелагея, тогда еще Павлуша, два месяца подметал волосы и щеткой скреб зад гостей, выше взлететь не ухитряясь, вследствие и рокового роста, на третий же самого „Леона“, то-есть Шемухина обчистив очень основательно, с выручкой и с прочим, перекочевал в ночлежку, близ Хитрова. Пил важно

Digitized by Google

и еженочно справлял „свадьбы“, узнав впервые, как слово „мамзель“, так и многое иное. Затем—квалификация: форточник. Поймав, избили. Вытек левый глаз. Рукавишниковский. Обучение столярному мастерству и порка с присвистом. Сбежал. Углубление форточничества. Крещение: „Пелагея“. Касса. Кутеж. Каникулы в Сокольниках. Раз барышню поймал в лесочке. Галантность из'являя, шептал „мамзель“. Угреватое лицо вспотело до сияния лика. Одолел. Для удовольствия давил кобелей. Очень занятно—хрипят и на веревке пенятся, как подбородки в цирюльне Леона. Еще собирал лесную малину и пел от многих чувств: „полюбила ты, шельма, меня“. Тюрьма. Суд. Арестантские роты. Революция. Один обман. Сгущенность крайняя в квартирах: спят у самых форточек. Вообще, невыразимый кризис. Перешел на шубы. В „Тараканьем“ душу отводил: много шельм, все любят, только косые выкладывай. На Сухаревке недавно, сбывая лисью ротонду (чудный мех, цельная покрышка) познакомился с Высоковым. Подружились. Славный парень. Денег не жалеет. Предложил, вместо шуб, кое-что. Можно весь „Тараканий“ запрудить коньяком: не советские бумажки—пух говяжий—нет, настоящие и „царские“ и золотые—сколько хочешь.

Там же, на Сухаревке, глотая быстро горячие щи с жирной солониной, приправленные хлопьями падающего снега, разговорился с Игнатовым. Сразу понравился добротностью и дивными усами. Щами торговал, также, для пролетариата, морковным чаем и пирогами с пшенной кашей на изумрудном маслице, всё без обмана. Понюхав, пощупав, Пелагея привлек Игнатова, авансом выдав две „царских“, пол бутылки неразбавленного и фунт изюма. Игнатов не только согласился, но, закрутив усы, стал над своей жаровней в позе, по меньшей мере, предводителя дворянства, как бы требуя от Пелагеи и голубей бронзовой рамы. Возгласил:

— Ныне отпущаеши...

После чего, продав по сходной цене остатки охладевших пирожков, сам поспешно долакав из котелка густые щи, собрал орудия производства и отправился с Пелагеей для выяснения деталей. Ясно: раз были щи и даже с солониной, Игнатова завлекли не „царские“ и прочее придаточное, а исключительно высокие идеи. Стоило взглянуть на усы, в

Digitized by Google

сетях которых должно было запутаться белорыбовское сердце, стоило услышать этот голос, отдыхающий на гласных („зна-ете така-я ба-ба"...), с развалкой голос, чтобы понять— такой не может щи варить, все это превратности судьбы. Действительно, до семнадцатого Игнатов, не снисходя до щей, даже в ресторане, заседал над ворохом дознаний, будучи ротмистром особого корпуса, а из жандармского ехал в „Эрмитаж", где ел суп из бычачьих хвостов, по европейски. Дознания любил уютные, большие, чтобы папки пухли, чтобы арестованных вводили и уводили, как статистов, чтобы были молоденькие—переписку читать, романчик—ну, и эффект, конечно. Как то, допрашивая девушку эс-эрку, которой некий фрукт писал (при обыске изъяли чуть ли не пуд любовных писем) „малиновка моя"—пошевелил усами, промолвил:

— Мали-новочка моя, девче-ночка!...

Малиновочка оказалась птицей весьма серьезной и, вскочив, хлестнула Игнатова по мягкой к плечу свисающей щеке. Но ротмистр не потерялся, как истый христианин подставил и другую:

— А э-ту по-целу-йте!...

Горящие глазенки. Милый домик на Малой Никитской. Ночью цыганки. Время воистину блаженное! И сразу, безо всяких предупреждений, как будто Москва стояла на каком нибудь Везувии—конец. Искали. Хотели расстрелять. Увернулся. Может, лучше, если бы расстреляли. Два года— такие!—голода, обид. „Рассыпные" продавал. Ловил бездомных псов, для колбасника на Божедомке. Крал казенные дрова. Даже служил три месяца в каком-то собачьем главке. Всё было. Только недавно, встретившись в этом окаянном главке с женой Натанчика, скупающего и продающего (для экспорта) закладные на имения, ожил; мадам Натанчик обомлела и в тот же вечер прибыла к Игнатову в каморку, предусмотрительно закутанная в пять платков, ибо Игнатов краденные поленья продавал. Потребовала, чтобы было полное изнеможение. Через две недели Игнатов, имея солидный основной, приобрел жаровню и стал выкрикивать:

— Щей жирных, гражданин, а, щей, щей!

Хоть холодно было стоять, хоть часто разгоняли, так что

Digitized by Google

пропадали щи, опрокинутые на снег перепуганными бабами, после ловли сук и пакостей в главке, казалось это отдохновением.

Грех жаловаться. Но Игнатов знал другое: идеи, тяжелые, чопорные, как в бальных платьях, похожие на придворных фрейлин, проделывающих перед вдовствующей императрицей серии книксенов: „престолонаследие", „благонадежность", „чинопочитание" и другие. В мире стало невыносимо пусто. На людной Сухаревке Игнатов порой растерянно оглядывался—среди зипунов, шинелей, среди хлама, масла, мяса, золотых колец, вместо витрины нанизанных на синеватые отмороженные пальцы, среди му́ки, рухляди, муки́ и граммофонов он звание искал. Вот эта баба—баба или дама? Дама или попросту жидовка? Тайна. Звания не было, а без него вселенная казалась неназванной, отсутствующей, похожей на груду заржавелых гвоздей, разбитых тарелок, пустых флаконов, драных тряпок, высившуюся рядом с жаровней Игнатова. Все стало бывшим. Бывший ротмистр. В доме бывшем... Отличия бывшие. Так жить нельзя! Еслиб даже Игнатова поселили в бывшем „Национале" и дали б „кремлевский паек"—всё равно он не утешился бы...

Чем редко утешался—„Всеобщим Календарем" на 1898 год, полученным от старичка за пирожок с пшеном. Читал все имена императорского царствующего дома. Великий князь Сергий Михайлович. Великая княгиня и королева эллинов... Страницы благоухали, как будто на Игнатова, обтянутого духом Сухаревки—льняного масла и пота—вновь брызжет домашний парикмахер, m-r Эжень, из пульверизатора тройным одеколоном.

Дальше: „табель о рангах". На вершине обергофмаршал или обершенк. Почтительно, но и прилично в середке—камер-фурьер. Внизу, юля щенками, тафельдекер, кофишенк и прочие—куцые „благородия". Куда? Куда же все исчезло? Как Собинов—из рупора грустя „куда вы удалились"?

Но вот еще подпора. На семнадцатой странице. Сколько у какой державы войска́. Если все пойдут на большевиков... Брал карандашик и слагал: Абиссиния, монархия, Негус, регулярных 36.000; Австро-Венгрия—ее как будто теперь нет—ужасно, даже календарь стал бывшим; Арген-

Digitized by Google

тина, республика—может быть тоже „товарищи"—пропустим; Бельгия, 80.000. Итого уже 116.000... Так засыпал, слегка удовлетворенный.

Услыхав от Пелагеи о „пятерке", сразу ощутил и звание и даже престолонаследие. К Кате на Спиридоновку шагал увесисто, как некогда в жандармское (здесь же находилось, по соседству). Пусть смерть! Он умрет за государя, как в Большом театре умирал Сусанин, как памятник Пожарскому на Красной площади, как некий вымышленный обершенк.

Поздоровавшись с Катей, щелкнул валенками—ничего не вышло, но в игнатовских ушах раздалось пение шпор, нежнейшее—не то „коль славен", не то, „я славен"—я—Игнатов! Перегнувшись, ручку поцеловал.

Все в сборе. Высоков без предисловий:

— Эта „пятерка" устранит одного из главарей „чеки"—Курбова или, на худой конец, Аша.

Вздохи пуза растут. Хитрый смешок Пелагеи („если двух—набавить не мешало бы"...). Игнатов ласково развалившись:

— Разуме-ется...

И поспешное ревнивое:

— Я!

Кати.

Высоков:

— Конечно, вы. Мы уж условились. Остальные члены „пятерки" вам помогут найти намеченного и прочее.

Пелагея просит слова. Он может поискам способствовать. В „Тараканьем Броду" бывают всякие чекисты—Чир, например. Пелагея с ними—приятели—не мало самогонки роспили, без малейших расхождений. Молодцы-ребята, про шубы знают, но никаких нотаций. Можно попытаться выведать, кто этот Курбов, куда ходит. Если любит девок или водку—тогда пустое дело, в два счета. Пелагея один возьмется, и барышне незачем утруждать свои ручки.

Пелагея предлагает итти сейчас же. Ревностность редкостная. Откровенно говоря—он очень хочет поскорее разменять у Ивана Терентьича пару „царских", спросить коньячку, похвалиться перед Чиром, Лещом и другими, вот как, а затем набрав девок, гуртом, не менее пяти штук,

Digitized by Google

удалиться всем на зависть в верхний номерок.

Что ж, это дело! Наум не может – острый приступ ревматизма. Зато благословляет. Высоков рад бы—нельзя. Глупо рисковать столь ответственной персоне. Ведь у него кроме этой—еще 189 „пятерок".

Катя—платок на голову. Как лодка плывет среди пены снегов. За нею—Игнатов, знает: Катя—дворянка, спокоен. Пелагея костенеющими пальцами грозится: попробуй, Танька, на соплявого Леща взглянуть—расковыряю...

Метет.

22.

Лещ бесится. Что тут поделаешь? И Маничка Типунчина и Хлюська и Бабабачка—все вокруг Пелагеи юрзят, пытаясь вскарабкаться на колени, влезть в его единственный глаз и дальше, внутрь, где гордо ходит Пелагеево сердце, помахивая, как павлин хвостом, нарядненькими „царскими" (видали—вынимал, скрипел, углами топорщившихся чопорных бумажек), Пелагея горд, только Чира он удостаивает дружественного „так-то". Гонят вместе уж третью бутылку—что им?... И между икотой, („то-то", „так-то") подозрительно оглядывают друг друга, вернее друг друга, Чир—Катю, Пелагея—Курбова. Людмила Афанасьевна?—что-ж девка-девкой, только подороже „тараканьих", видно сукин кот, то-есть Чир, облегчив по дороге в чеку какого-то запористого спекулянта, взял ее с Тверской,—там возле „Люкса" день и ночь конфетки для иностранцев и для „клешников" в командировке. Игнатов тоже недаром щами торговал, несмотря на все престолонаследие, так проникся капустным духом, что среди „тараканщиков" по особому не пахнет. Но Курбов? Но Катя?

— Что ж еще бутылку? (вслух).

(Про себя)—„в оба". У Пелагеи один, да он такой пролаза,—стоит двух.

Катя пьет из чашки, спокойно, ровно (так мама пила свои микстуры), если надо, выпьет бочку—ей все равно. Вдруг перед ней, снявшись со стола, с протяжным всплеском пролетают руки Курбова. Смятение. Неужели этот тоже

Digitized by Google

чекист? Нет! Вот тот—с прыщами, конечно,—пытает, прижигает тело папироской. Не этот! Разве можно такой рукой, длинной, тончайшей, как птица, у которой в лете пропало тело, только крылья и упор?... Нет, не этот! И как могла подумать? Еще чашку.

Курбов себе приказывает, почти что вслух, чуть шевеля узкими и бледными губами—на Катю не смотреть. В сторону, туда, где Белорыбова с Игнатовым над колбасой, еще нетронутой, вопреки логике и угощениям Пелагеи, воркуют. Все в порядке—товарищ Белорыбова старается, хорошая сотрудница.

Ах, Курбов, не знает—отчего этот воркот, эти несъеденные ломтики любимой, хоть и собачьей, но все же чайной. Сразу, в Девкином переулке, среди харкунов и рвани, на двадцать пятом году жизни, осуществилось: Гамсун стал наличностью. Любовь перекочевала из зачитанных книжек (Петровские Линии, по второму разряду) в эти виснущие щеки, в эти вздыбленные гордо, как кони над бездной, чудные усы. Андерматов, ее узрев, сейчас—позавидовал бы. Ведь оценив в холодной комнатке теплоту и мягкость плоти, он остался все же недоволен отсутствием темперамента; даже когда слегка душил, вымещая злобу на мир вообще, в частности, желая вызвать хоть видимость волнения—Людмила Афанасьевна, только, удивленно щурясь, спрашивала: „Это тоже нужно"? Сейчас—иначе. Игнатов среди беседы своей немалой лапой придавил ее носок. Больно, но приятно. Теперь она понимает Викторию и других. О ней тоже можно написать большую книгу—„так любила, так страдала".

Игнатов ножку придавил не от невоспитанности – выражая чувства, если не столь патетические в их перводанности, то все же достаточно пылкие и прекрасные. В антракте, между героическими усилиями вернуть опустошенной Сухаревке звание и гармонию—развлекался. Видит—не девка с Трубы: манеры, образование, скорей всего своя, дворянка, обстоятельствами, как и он, доведенная до неподобающего званию места. Раздаются отдельные слова:

— В гимназии... Я бы вас записала в карнэ на все кадрили... „Империаль"—шоколадное печение, в кондитерской Трамбле...

Digitized by Google

— Предпочитаю мазурку... При шпорах... Вы мне напоминаете Венеру, за вашей спиною таится проказник—Купидон... Что ж! Я сдаюсь...

От „Венеры" Белорыбова совсем дуреет. Машинально оглядывается, но за ее спиной лишь Лещ, отчаявшись переманить у Пелагеи девок и подцепив какую-то безносую старуху, бьет ее по плеши скелетом обглоданной селедки.

Пелагея завистливо косится на Людмилу Афанасьевну—чорт, такую пропустил!... Но рыцарским жестом наливает в чашку мадьярский коньячок.

— Пожалуйста, мамзель, за всех трудящихся, то-есть за вашу женитьбу, ги-ги...

При этом, однако, соображает: тот, высокий — молчит верно будет покрупнее Чира. Если Высоков надбавит—словлю. Нет, примусь опять за шубы. Охота зря возиться!... Конец один—поймают, к стенке, бац. Пока что, хоть пожить в свое холостое удовольствие, без лишних хлопот.

Курбов томился. На Катю не смотрел. Слов не слышал. Глотал спирт, а в уши бил град: грохот локтей об стол, бряк чашек, брань, все те же „цыпленки", гадко, нагло „хочущие жить". Так час, а может два. Наконец кулаки сжались, мысли стянулись, наступило человеческое, деловое: заговорить. Это — девченка, если причастна — проболтается, и хвост, тот знаменитый, недоступный хвостик, о котором тосковали на Лубянке—окажется в кармане. Но как? Прежде всего—взглянуть, освоиться.

Все завертелось. Дело, партия, Ресефесер железным шрапнельным роем прочь ринулись, многих спугнув—*так* Курбов поглядел, *так* ясно значилось в серых раз'яренных глазах—этот все может, *так* запахло в „Броду"—Октябрем-броневиками, пулеметными лентами, волей, смертью. Это с другими. Сам же Курбов сразу опустел. Вынули подпоры, и дом забился на ветру, разметанной купой, из окон выка, тились кубарем жильцы, крыша вовсе снялась и улетела. Пожарных что ли звать или писать слюнявые стихи? Нет, просто человек чумеет. Видит смуглую сухую щеку—пахнет степной травой, перегаром пахнет, дышит звериным, пушистым, розовым теплом. Впервые в жизни Курбов теряет память. Рука приподнятая не знает, что ей делать: схватить ли папиросу, или, стол оттолкнув, уйти, или смуглое, по-

Digitized by Google

лынное, сухое прижать к себе, как прижимают голодающие на вокзалах караваи, смоляного пахнущего кислой жизнью хлеба? Нечто явственно меняется. То-есть вместо, не только 1921 и Р. К. П., но и (пространней) человека в брюках, по степи полынной, знойной, обжигающей и ноздри и копыта, средь перепуганных печенегов иль прочих „тараканщиков" мечется взбесившийся бык. Даже не мечется, стоит понуро, голову пригнув, только белые холодные глазища наливаются багровым током и никаких арканов: прыжок, рог, смерть. Впрочем, возможно,—это ручная граната; постучал, бросил, остаются три секунды. Дальше — раз'единение рук, ног, языка, глаз—всего, что было еще недавно человеком. Курбов вступает вновь в недели сыпняка. Ноги, ненужные, легко отваливаются. Сами, тонкие и к миру безразличные шагают по Сретенке, по всем Мещанским, к заставам, вырастают в бессмысленные водокачки, и где-то, среди снега, на иксовой версте, гибнут. Руки, напротив,—здесь, но живут раздельно: левая еще, по старой памяти, чуть поддерживает голову, готовую скатиться, как сентябрьское яблоко, правая же, свернувшись лодочкой, тянется к Кате: хочет немного, ну на грош промыслить чужого жара, ради, ради... (когда то было „бог" с'ели Спиридон и глиста). Глаза, отчаянно напрягаясь, выскочили из орбит, и птицами, от изумления вереща, присели на узкие подрагивающие плечи Кати. Язык на месте, во рту. Но тщетно Николай пытается что-либо сказать—огромный ком мяса копошится улиткой и только. Да, да совсем—сыпняк! Очень жарко, снять бы куртку, и сплошная, густая дрожь.

В „Тараканьем Броду" вдруг стало тихо. Хоть всё и все на месте. Очень тихо: воркот Игнато-Белорыбовский, да чавканье Ивана Терентьича, воспринимающего барыши, как щи,—вслух. Что будет?

И спасает Катя. Видит смятение Курбова: нет, такой не может! И как она подумала? Случайно с ними. Пелагея все, что нужно узнает у того с прыщами. Еще—Игнатов с девушкой. А Катя сейчас свободна (ведь был же день, когда звенели вазочки на полках - потом? Потом придет, конечно, Лиза, впрочем теперь „потом" не будет—на днях—умрет). Взяла у Леща пропревшую колоду (Лещ играл в железку) и первое, простое, Николаю—да, бык, граната, сыпняк!—она

Digitized by Google

же беззащитная, да заговор!—она же девочка, простое, средь общей сторожкой тишины:

— Вы умеете домики строить?...

— Я?...

Нечленораздельное глухое бормотание. Слово бьется в горле, прорывая кокон. Кризис. Синие большие принимают Курбова всего—не стой на улице, там холодно, ну, милый—войди!...

— Умеете?

— Да, да, конечно...

Пригибают уголки и карты, просмоленные потом, чуть ли не поколений, стойко стоят. Стол обрастает этажами. Курбов залюбовавшись:

— Хорошо!...

И от последнего особенно большого „о“ домище падает, как Курбов давеча, разбегается красными и черными мастями. Но другое держится: могут говорить. О чем?—о домиках. Катя—всегда любила. Мама вечерами долго сидела, зябнущая, подбирая локтями верблюжьи уши оренбургского платка, и клала пасьянсы, с именами были, смешные имена—„Бисмарк“, „Могила Наполеона“. Потом карты переходили к Кате. Выростали пагоды, китайские дворцы. Катя ясно различала запах ванили в трубочке (любила забираться в буфет и нюхать), шелест чайных деревьев, нарисованных на цыбиках и нежное серебряное содрогание чащи колокольцев. Это были широкие—шестнадцать карт внизу. Другие—вверх: башня, десять этажей, там будет жить с героем, с Наполеоном (он не умер—неправда!) или с Демоном (он, бедный, совсем не страшный—просто Тамара злая). Внизу водопад шумит, совсем как в ванной, когда наливают воду, только гораздо сильней. Она будет ему рассказывать сказки и гладить руку ласково...

(Здесь как то руки Кати и Курбова на миг столкнулись—поезда А. и Б.—и обе отчаянно вниз, в пропасть: такого гула и сияния не вынести...)

Строила. А после, нарочно, дула—было это горько, но необходимо: скорей разрушить.

Нет, Николай не так: карточных не признавал. Рассказывает про свои—из спичечных коробок. Ночью высчитав: восемь вниз—фундамент, дальше пролеты арок, послед-

Digitized by Google

няя рвется ввысь. Спички шведские (Лапшин внизу) на коробке—кораблик, и башня преображается в корабль, плывет, перелетает море, средь бури стойкая, прямая—Коля все рассчитал. Вырастет, построит такой же город из железа, выведет маму, Мишку, всех из мушиных комнатушек в один огромный дом, и дом отчалит. Еще—катушки... Нет, надо такой, чтобы не падал. Никогда.

Катя спорит: выросла теперь большая, а все же, как и прежде—должен упасть, лучше уж самой скорее дунуть. Про маму—как лежала: руки на груди. Про маятник. Учитель был Демоном, остался пьянчушка с красным носом. Вазочки от счастья дребезжали, а час спустя явилась Лиза. Их повенчали.—Все так. Год за годом Курбову дарит свои лета прекрасные, разбежавшиеся красными и черными мастями. Давно не в „Тараканьем"—где-то на отчалившей многоэтажной башне. Николай вбирает уж не ушами—мало!—легкими—грудной широкий шопот. Когда доходит до гвардейца, покупавшего лайковые белые, вобрав в себя, наконец то, знакомое свое, сам просторно выдыхает:

— Так прямо перчатками? Милая, вот хорошо!...

И снова от „хорошо", от слишком большого „о" что-то валится, на этот раз не на столе, а в Кате. Накинув угольные брови на синь глаз.

— А может быть и очень плохо...

Стрелка несколько минут колеблется. Размолвка может стать разрывом. Спасают не слова, но теплота опять столкнувшихся случайно (случайно ль?) рук. С пальцев ток бежит по телу и глухо отдается в висках: вот это, здесь, не уходи, уйдешь и ничего не будет—бутылки, тараканы, сугробы, ночь. Катя смиряется, уступает:

— Нет, конечно, хорошо. Я и сейчас поступила бы также...

(В голове: Высоков, „пятерка", устранить, ведь это как перчатками).

Курбов забывает даже синь впустивших, весь—к руке. Это крохотная, с голубизной, из детской—ее бы согреть за пазухой, дышать на пальцы—все они мизинцы, а мизинец—просто в шутку—значек, вот эта—и может ударить. Здесь переход от Курбова недавно рассекавшего метель, от Курбова с Лубянки, от члена и прочее—к быку, который ме-

Digitized by Google

тался по степи, к ребенку, только что слушавшему на диване, под платком, сказки о китайских домиках. Николай уверенно продолжает:

— Я сразу почувствовал, что вы—наша.

Катя чуть приподымается. Неужели?... Что то в Курбове от вечера средь облачного пара, когда домашний затхлый бас братца Наума пророчески гремел. Так и знала! .. С ними случайно, наш! Длинное византийское лицо переходит в иконный лик, в тот белый, дневной, суровый, что буйствовал в углу и Катю требовал к ответу.

— „Как попустила"?...

Катя восторженно:

— И вы? Нельзя, чтобы все молчали... Китайцы пытают... У Щедровых расстреляли сына... Умирают с голода, а в Кремле—шампанское... Насильники... Не русские... Чужие...

— Вы это..:

Не кончает. Хрипя, давясь, проглатывает кучу слов, обиду, боль, отчаяние. Трах!—отрезвел. Ясно—из заговорщиков. Зачем потратил вечер на бабью стрекотню? Надо было использовать, пощупать, выпытать. Но это завтра. Сейчас не может. Итти.

Стул падает. Катя, ничего не понимая, нежно и доверчиво:

— Уходите? Мы с вами ведь встретимся еще? Хотя бы здесь. Я даже не знаю, как вас зовут...

Курбов себе—спокойно! Через пять минут ты сможешь бесноваться, там, среди сугробов, здесь - не портить дело—узнать, разведать—спокойно же!

— Владимир Иванович Захаров. Служу в губпродкоме. Надеюсь здесь еще встретиться с вами. Спокойной ночи.

Оглядывается. Стол опустел. Белорыбова с кавалером куда-то исчезли. Пелагея сейчас в апогее величия: тащит наверх трех девок сразу, двух просто, а Манечку за косы, чтобы не оглядывалась на Леща. Курбов уходит с Чиром.

Метель уж улетела за безлюдные заставы. Тихо. мягко, светло. Чир, раздраженный счастьем Пелагеи, изжогой от мадьярского и Курбовым, который, не взирая на занимаемую должность, с бабой возится, плюется.

— Что же, товарищ, девка—смак?...

Digitized by Google

Николай сперва не понимает. Осматривается. Потом—кулак.

— Молчи!

И в сторону, за угол. А может быть, вернуться, об'яснить ей, убедить, сказать: ну, милая, ведь ты не та, милая, ты с нами, со мной?... Нет. Домой. Пять шагов. Домой не может. Все сначала. Жар, метание, немота. Мысль со стороны: ведь это только начинается... что же делать? Снег с'ел дома, фонари, заборы. Лес с кочками, и газовая заводная луна. Тихо по давнему, даже вне веков, совсем не по человеческому тихо. Выдуманная кем то Москва, идеи, работа, завтрашнее утро—все это миф. А правда под рукой: ком снега, он твердеет, жжет ладонь, как Катина рука: Много снега. По снегу мечется, роняя тяжелые глубокие. следы подшибленный зверь, дикий бык, с кочки на кочку. Еще минута и выскочит, закружится по лесу, обгоняя Николая, чудовищный смертельный вой: ну что же, что же делать?.. Заговор. Завтра. Папки дел. Ликвидировать. Смуглая. И кажется—любовь—ведь это так зовется?...

28.

Белорыбова с Игнатовым раньше вышли—ждать не могли. Уверенно вела Людмила Афанасьевна своего массивного младенца, обходя особо скользкие площадки под'ездов, в особнячек, бывший князей Дудуковых, вела молча, торжественно, как Антигона слепца. Игнатов, закрыв глаза, доверившись хотя мягкой, но решительной руке, плавно плыл. Очнулся он на льдистом паркете парадной залы, где тускнела бронза вытекших трюмо. Плаванье пришлось сменить на эквилибристику. По неопытности схватился за нечто, оказавшеёся изваянием княгини Дудуковой. Музейная комиссия изваянье большинством семи против четырех забраковала. Солдаты не прельстились. Осталось осенять развалины. И вдруг от легкого прикосновения Игнатовской руки оно упало, загрохотав, как тяжелый снаряд. Дверь кабинета приоткрылась, в экономную до крайности щель пророс красный нос заведующего хозяйственной частью. Голос раздался, методический, почти приват-доцентский:

Digitized by Google

— Товарищ Белорыбова, я неоднократно просил соблюдать после 12 часов ночи тишину. Сон совершенно необходим, чтобы восстанавливать энергию. Я даже на двери наклеил соответствующее об'явление.

Молчание—нос жаждал оправданий. Но произошло необычайное—из глуби зала Белорыбова томно зашептала:

— Ночь вовсе не для сна. Все романы протекают ночью, Ночь—для любви!...

Этого нос никак не ожидал; пометавшись растерянно, как будто на него села досадливая муха, он скрылся. Людмила Афанасьевна же осторожно приоткрыла другую дверь, и нежно втолкнула Игнатова в возвращенный рай. О том, что это рай, сказал немедленно горячий пар, дико вырвавшийся в залу: не менее двадцати градусов. Игнатов окунулся в тропики, щеки сладостно зачесались, нос увлажнился—чувствовал—тает весь, от сосульчатых усов до тончайшей кишки, впервые оттаивает после трех морозных лет, после полярного главка и метельной Сухаревки, беспаспортный в'езжает гордо в Ниццу.

В середине бывшего будуара исступленно гудела дивная и дикая волшебница—большая чугунная печка. Ее бока от удовольствия краснели, а живот даже белел слепящей страшной белизной. Коленчатые трубы содрогались. Жар кругами метался по комнате, так что кисея на бывшем туалетном столике самой княгини билась в перепуге. Поспешно расстегивая все, Игнатов на минуту все же среди тропиков, припомнил житейское, то-есть долготы и широты Он недоуменно пробасил:

— Откуда у вас дрова?

Кокетливо улыбаясь, Белорыбова подкинула в печку, обрадованную даром, еще полено:

— Я служу в одном месте... то есть в Наркомпросе, только особом... там выдают...

Игнатов подумал: какой он симпатичный, этот Наркомпрос. Может, бросить всякие „пятерки" и туда зарыться: тепло? Но тотчас же осилил: пребудет верен законному престолонаследнику. Впрочем, поразмыслить как следует, помешала Людмила Афанасьевна. Томная, упала на Игнатовские колени, подбавляя к жару печки свой особый, тяжелый, влажный, как летняя испарина лугов. Игнатов задыхаясь пролопотал:

Digitized by Google

— Красо—ты! Вене—ра!

Это были именно слова, способные свести с ума Белорыбову—не „душечка“ или „кошечка“ — а выспренность, поэзия, музей. Вспомнила открытку в магазине художественных принадлежностей на Арбате и вся заколыхалась: опознана, понята, живет.

— Милый, закройте на минуточку глаза.

Игнатов охотно согласился—и так смыкались от жара. Погрузился в горячие водовороты, которые его кружили по комнате, по рощам Бразилии, кидая с магнолии на колибри: маленькая птичка, но на ней шестипудовый бывший ротмистр взлетал к звезде и птичка щебетала. Впрочем, это был не щебет, а скрип крючечков и шуршание юбок.

— Теперь откройте.

Открыл. Но также и рот. Даже вздернутые гордо усы от, богомольного умиления стыдливо поджали свои великолепные хвосты. Весь—экстаз. Перед ним, на маленькой кушетке, с нее стекая на ковер, в позе классической Венеры, совершенно голая, белая до ослепления, лежала Людмила Афанасьевна. Одной рукой, не забывая об открытке, она поддерживала грудь, но изобилье не поддавалось учету—тело все же вырывалось широким водопадом и сливалось с бушующими валами живота. Это было неистовство огромной бескрайной плоти, прорвавшей, наконец, плотины „исходящих“ и „премиальных“, юбок и любовных церемоний, готовой захлестнуть не только особняк, бывший князей Дудуковых, но и Москву, весь мир: потоп.

Игнатов молча обмирал, только раз икнув—и то скорей от свойств „Тараканьего коньяка. Обмирал, как дрезденские немцы, налитые по горло пивом с пеной перед Сикстинской Мадонной , забыв о поле и о прочем. Только, когда Людмила Афанасьевна коротким, но густым, насыщенным вздохом подозвала, он упал, погрузился в огненную хлябь.

Час спустя, усталая, но благодарная Венера подносила Игнатову бутерброды: масло капало, а колбаса потела. Обнимая Людмилу Афанасьевну, он поглощал их, один за другим,—дивные плоды. Воцарилось особенное благодушье, доверчивая нега, те высокие и редкие минуты глубокого союза душ, когда даже зачерствелые циники способны на неожиданные излияния. А Игнатов был далеко не циник—

Digitized by Google

скорей романтик. Даже в давние лета, когда, производя дознания, читал чужие любовные письма, даже тогда мечтал—вот кто-нибудь напишет и ему нечто поэтическое. Кокотки и влюбчивые дамы, вроде m-me Натанчик, его не удовлетворяли—они томили, как после ужина сальные застывшие тарелки: скорей убрать. Теперь, напротив—перейдя от нечеловеческой страсти к бутербродам, умащенный двойным потом, он испытывал блаженство. Немудрено, что этой по видимости чужой особе, он выложил свою заветную героическую тайну:

— Милочка, а ты какого звания?...

От неожиданности и непонятности вопроса Белорыбова даже всплакнуть хотела.

— Я?.. я же тебе сказала—в особом Наркомпросе...

— Нет, я про другое... Прежде... Словом, дворянка или мещанка?..

— Папа служил в архиве. Кажется, дворянка....

— Я так и знал—породы не утаишь. Теперь слушай: недели через две твоему Наркомпросу крышка...

Это было грустно, даже в такую ночь. Людмила Афанасьевна печально поглядела на шкапчик, где хранились масло, колбаса и прочее приятное.

— Но почему?...

— Потому что прибудет законный престолонаследник. Я во главе. Я тоже в'еду в Кремль. У нас двадцать тысяч „пятерок". Всех чекистов проклятых перевешаем на фонарях. Будут снова звания. Я закажу беф-строганов и учиню бо—льшой допрос.

От коньяку, от тропиков, а главным образом от тисков Белорыбовой, накопилась страшная сонливость. В самый патетический момент она сразила Игнатова, и, зарывшись усами в телесные подушки, он уснул. Но не сон одолевал Людмилу Афанасьевну - ужас. Полюбив поздно, она за то уж крепко полюбила. Из слов Игнатова полудремотных поняла: готовится нечто роковое. Боялась не за себя: пускай повесят—она теперь познала любовь. Нет — за него. Казался ей ребенком. Вот тихо, невинно дышит в грудь. Если бы не усы—подумать можно—к материнской припал. Хоть шесть пудов и сорок лет—нежнейшая, хрупкая игрушка, одуванчик, мотылек. Должна его беречь, ходить за ним. И

Digitized by Google

вдруг—опасность. В успех не верила: звания и наследник казались глупой сказкой, слышала о них когда-то, девочкой. Теперь есть служба. Есть чека. И это крепко, нетленно, вечно. Андерматов схватит милого, начнет допрашивать, товарищ Аш вытащит ножницы и продиктует Людмиле Афанасьевне: „к высшей мере". Не станет. И снова Венера превратится в машинистку, груди бесцельно будут течь, течь будут года. Нет, этого она не может!..

Щекотнула ласково Игнатова. Приоткрыл глаза. Сразу приступила:

— Милый, откажись. Ничего из этого не выйдет. Только расстреляют, а я одна останусь. Лучше день и ночь любить. Хочешь, я тебя устрою в нашем... особом... паек..... дрова...

Игнатов возмутился. Даже вскочил и неприступно подтянул слезавшие на пол кальсоны:

— Никогда! Ве-рен престолу.

Но тепло, накопленное под одеялом, приманило (печка уж остывала). Милочка терпеливо ждала. Прилег и повозившись немного, себя вознаграждая за прерванные сны, уснул.

Теперь Белорыбова знала—упрям, не переспоришь. Но как спасти? Была уже готова записаться сама в эту глупую „пятерку": погибнут вместе, когда под утро пришла простая, но гениальная мысль. Она откроет все товарищу Курбову, и выпросит за это, чтобы Игнатова, малосознательного (молод, случайно втянут в дело) простили. Может, даже, его пристроят на службу в том же отделе. Решив, едва дождалась девяти—вовсе не спала. Тихонько выволокла свои груди, оставив заместительницу—подушку. Затопила печку. Игнатов, оглушенный ночью, прихрапывал. Подумала, целуя осторожно хвостик уса, от храпа подрагивавший: милый, маленький, ведь, он на службу еще не ходит, я его спасу от злых „пятерок", устрою, усажу за стол—неспеша бумаги нумеровать и получать паек. Потом написала: „Возлюбленный! Я ушла на службу (опаздывать нельзя, вычитают). На столе для тебя бутерброды, с'ешь перед тем, как идти, чтоб не натощак. Приходи ко мне вечером. Твоя Венера." Записку положила ему на грудь и, еле оторвав глаза от этой выпуклой, об'емистой груди, побежала на Лубянку, быстро, быстро, обгоняя толпы сотрудников с портфелями и с кульками, всех обгоняя,—спасать любовь.

Digitized by Google

К утру зима не выдержала, начала публично гнить. Среди сугробов задышали черные, весьма сомнительные дыры. Поерзало. Покапало. И сразу все до того переменилось, стало простоватым, размяклым, ленивым—окна, носы и прочее, что выползшие к десяти те самые сотрудники, которых бойко обгоняла Белорыбова, не знали: зачем спешить? Недописанный доклад, недоголосованные резолюции, даже капуста недоданная уныло ждали в затонах затхлых учреждений. Между вчерашним благом и блаженством этой первой хлюпкой лужи значилась дыра.

Да, дыра! И тщетно Курбов хочет забросать ее комами слов, грудой словопрений о каких-то новых комах, работой наспех, стоя, по дороге, на лестнице, чтоб ни минуты не было того, вчерашнего, чтоб не дышала среди снега черная жирнеющая таль. В днях, в летах—разрыв. Конечно, не уступит, усерден, на посту: карандаш, в особо неприятные минуты, в'едаясь в лист, ворчит сердито. Конечно, здесь и первый: еще пустые столы, курьерша тов. Анфиса подметает, а чайник закипающий поет, в форточки весело влезают холод и говор, чтобы, увидев горячие сухие трубы, отношения, чернильницы и курбовские закушенные губы, подумать: скучно, чинно осесть. Все как в гимназии до начала первого урока. Конечно это-свое, и Курбов не изменит. Но достаточно обследовать всю сухость губ, от которых так тошно ранневесеннему деньку, обмороки карандаша, падающего в самые напряженные минуты, сутулость, скуку, холодную, прозрачную деловитость, явно отчужденную от влаги задрожавших палисадников, от громыханья и от пара, от весны, достаточно, чтобы понять: конец. Конечно, снег еще лежит. Конечно, Курбов здесь, не помышляет даже о чем либо другом, кроме папки с очередными докладами. Конечно... Но все это—продление. Николай погиб. Дальше—судороги. Морозный день. Как бы возвращенье к высокому периоду боев и диаграмм. Только видимость. Погиб.

Неужели мог? От маленькой, тонувшей в шубе, которая в захарканном притоне выдумала строить домики, после рассказывала глупые романы, жизнь по Желиховской с обаянием шпор, и, наконец, рассевшись всласть, привыкши и

Digitized by Google

аскисши, разоблачилась — выложила на столик, провонявший основательно колбасой, свои сухаревские подсолнушные идеи: „в Кремле шампанское". Неужели от такой? Нет. Неправда! Знает. Видел. Мог бы устранить десятки Кать, сотни, миллионы. К чорту василечки, рожь мила, над рожью синяя пустая высота! Нет, не от Кати гибель. Катя какое-то бревно, подкинутое злоумышленниками на рельсы. Могли быть Маня или Саша. Могла быть просто черная и теплая дыра в снегу. Все дело в страшном сотрясеньи ночью, среди мерных шорохов и мерзких песен, где-то возле Трубы, в местечке, открытом прыщавым Чиром, в тесной тараканьей щели.

Ведь, несмотря на тяготу и сдачи, на белого, расстрелянного под Черниговом, на девочку, облившуюся смертным потом и слюной, на месяцы и годы, Курбов являл высокую гармонию. Равновесие и точность химических весов. Как-бы сверкал медными частями, вторым и третьим солнцем. Про таких писали прежде: олимпиец. (Например, огромный план Вселенной, с точностью до миллиметра, который в парике и в туфлях с серебряными застежками прогуливался по уличкам заспанного Веймара). Курбов был спокоен, светел, в слепоте играя роями глаз, как ночь; в жестокости уподобляясь желтому небесному образчику, изливая, как оно, живительную пагубу зноя. Когда в автомобиле, пугая волчьими глазищами и воем, он носился по ночной Москве, с невымирающими замоскворецкими лабазниками, с часовнями Пантелеймонов, ревностно хранящими густые запашки душегреек молельниц и кладбищенского ладана, с шелудливым юленьем Тверских,—носилась просто воля в короткой куртке, и лабазники поспешно преставлялись, в распахнувшиеся двери часовни влетал озорной мороз, с морозом взвод курсантов, а разные Тверские забивались под комиссарские постели, с перепугу готовые шить всю жизнь кальсоны для Красной армии. Воля. Поворот. Колесо под рукой.

И вот вчера воля затрещала, как будто она лишь сгнивший стол под локтем разгулявшегося Леща. Вздор. Редкая нелепость. И все же в половине первого... Катя здесь непричем. Ну да, глядела, загибала уголки карт, смуглая рука и прочее. Гибель в нем. Ходил, чертил, не зная, что сам до верху начинен чем-то тягостным и страшным.

Digitized by Google

Взрыв. Он в кольце. Как некогда Олег Глубоков. Встали, идут. Мокрота и все. Стихия—чужая, топкая, похожая на портяночную, курную и рыхлозадую Рассею, обступающую главки, комы, разум. Это было в нем. Сам выкормил и не заметил. Гибнет. Скорей всего уже погиб.

И падает карандаш. Подымает. Пересиливает, пишет: „срочно... принять меры:.. твердость"... Пальцы твердеют: не выпустят карандаша.

Стук. Людмила Афанасьевна. Подойдя вплотную к Николаю, сразу, без предисловий, как во всех романах.

— Товарищ, понимаете-ли вы, что такое любовь?..

Курбов вспыхивает. Ну, это слишком!.. Неужели выписано на лице?...

Но Белорыбова не замечает. Ей все равно. Ей нужно милого спасти, того, оставшегося дома, глупенького, мальчика еще. Не ждет ответа. Слова скачут, как недавно по улицам скакала Белорыбова сама, в перегонку, скорей, скорей. Все ночное обработано и претворено в трогательный рассказ. (Кто после этого скажет, что Людмила Афанасьевна лишена художественных возможностей, что она зря была записана в библиотеке?). Игнатов сам признался. Случайно втянут. Ужасные злодеи. Хотят через неделю в'ехать в Кремль. Особенно интересуются, кто какого звания? Сам Игнатов предан революции. Он еще мальчик. Она должна сознаться—любит. Любовь не шутка. Товарищ, конечно, это знает. Умоляет его пощадить. Он останется среди заговорщиков. Все выпытает. Сообщит через нее. А после, может быть—местечко, хотя-бы внештатным или секретным. Но только чтобы и паек, и с маслом. Отощал—необходимы жировые вещества. Умоляет. Любовь порой приходит поздно: ей двадцать пятый, и впервые, но, когда приходит, это очень страшно. Страшней, чем пишут. Товарищ знает. Товарищ спасет.

У Курбова первое про себя.

— Ах, значит эта... Катя... с ними... вот что!..

Белорыбову успокаивает:

— Хорошо. Исполню. Прошу вас все, что вы узнаете об этом заговоре, сообщать мне лично.

Один. Какая гадость! Любовь—кудахчущая баба над жировыми веществами для миленка. Ей можно. Впрочем, может,

Digitized by Google

можно всем. В ушах снова топорщатся вчерашние „цыпленки"—что делать? „Хочут жить". Да—всем. Но не ему. Он не хочет. Даже если это не Белорыбовское масло, а сто томов прекраснейших стихов—все равно—противно. Брр! Вот встретил какую-то девчонку, не только повторявшую кухонные сплетни, но еще замешанную в пошлейшем заговоре со званьями, с в'ездом цугом в Кремль, встретил и раскис. Разве не мерзость?

Теперь осилит. Девчонка глупа, любит душу излить. Сразу все выболтает. Он пойдет еще раз в эту трущобу; встретить, полюбезничать и, между шопотов о разных христах или демонах, мимоходом подобрать детали заговора. Чует—раз „бог" притянут, не без Высокова... От мысли снова встретить Катю на минуту слабеет: слишком сильно бьет в глаза синь влажных глаз и солнечная щемящая охра руки. Жмурится—уберите прочь! Вздор—стыдно! Вошедшим Ашу и Андерматову:

— У меня нити... Заговор... Как будто монархический, с царем и прочим. Полагаю, высоковские штучки. Выяснится на днях. Собираются в „Тараканьем Броду".

Аш ножницами: чик-чирик. Диктует Людмиле Афанасьевне и вскоре на столе кокетничает синенькая папка, как институтка в форме, еще вполне невинная. Выведено красным:

„Дело о Заговоре в „Тараканьем Броду".

Андерматов мечтает: заговор. Начнут хватать по алфавиту. Много. Тысячи. Вдруг (ведь бывает—закинут сеть, а попадется золотая рыбка) среди прочих изменница, Зинка проклятая, с тапером. Тогда... Отвернувшись, чуть улыбается, в газетный лист вышептывает тихо: тогда я покажу им, на рассвете, по петушиному—„кукареку"...

Обычный день. В учрежденьи, то-есть в чеке, солнце и пыль. Шип машинки. Курбов, откладывая доклады, берет „Известия". Еще раз: люди могут быть только людьми. Концессии иностранным капиталистам. Возможность экономического отступления. Все правильно, обдумано, неизбежно. Запад не поддержал. Развал. Длительная пауза. Пока же необходимо жить, то-есть поспешно жевать теплый душный хлеб, греться у мурлыкающей печки и любить. Да, любить, как видно, нужно многим, может быть, и всем. Вот у товарищей подруги, жены, правда, партийные единомышленницы

Digitized by Google

и прочие. Но разве от этого легче? Разве они, любя, не корчатся, не мечутся, не столбенеют? Разве не подходит вот такое, что кровь со сгустками уж не течет, а, будто в ледоход мосты ломает, крутит, губит? Наверно так. А значит и они цыпленки: „Хочут жить". Нет, нужны система, звездный план, воля к единому. Все выстроить. Тогда—другое. Тогда придет любовь—не смерч, не напасть, не бедствие, а равнодействующее начало, точное соотношение, колонка цифр, простая радость, благо. Пока—нельзя. Пока—работать—вдвое, втрое. Пусть концессии, отступление. Пересидеть тех брюшковатых и беспечных, в Европах, играющих в футбол и пляшущих фокстроты. Пересидеть и пересилить. Снова берет доклад.

В окошко торкалась весна. Она с отменной наглостью влезала в короткую минуту между докладами, чтобы кой о чем напомнить, смутить и всласть побередить. Была нерадостной. Гнилые черные провалы на мостовых, на крышах. Даже пахло гнилью. От всего мутило. Слова докладов, маленькие и привычные, вдруг до того разбухли, что не влезали в голову. Каждое по несколько раз кидалось в глаза, и, наконец, дойдя до мозга, лопалось. Оставалась труха, то есть буквы. Надо работать. Только не любовь! Такая пошлость! Заговор. Девушка и тараканы. В докладе: „Обнаружены тенденции"... Что? Откуда? Хорошо-бы крепкого чайку стакан. Баловство. „В некоторых губерниях"... Губернии—где это? Не здесь... Большое „Б"...

Курбов уснул, не выпуская папки из цепких рук. Спал долго сидя, и этого никто не замечал.

Когда же Андерматов заметил и пристально вгляделся в землистое, сразу сдавшее всю жесткость, почти тряпичное лицо—он, даже не заслоняясь для приличия газетой, крикнул Людмиле Афанасьевне:

— А товарищ Курбов, видно, по ночам не спит...

Белорыбова вспомнила другого, безмятежно спавшего, оставленного в пустом будуаре, и чувствительно, глубоко вздохнула. Курбов проснулся. Сам не осознал, что спал. Вернулся к той-же букве:

Большое „Б"... Да, беспорядки в Тамбове. Надо работать. Работать и во всю.

Digitized by Google

25.

Катя остановилась перед вывеской «Вегетарианская столовая «Не убий». Постояла. Было очень страшно, пожалуй, страшней, чем Жанне д'Арк подняться на костер. Потом, про себя „раз, два, три", как девочкой, когда, купаясь, кидалась в холодную, секущую все тело, воду, шею вытянула, выпростала руки и влетела в часть официальную. На этот раз не имелось даже простокваши: просто морозный кошачий дух. Потолкалась в какие-то сомнительные двери. Ведро опрокинула. На барабанный грохот выплыл, наконец, Иван Терентьевич. Катю недоуменно обследовал:

— Ты что же, без кавалера? Нельзя.

— Пустите! мне очень нужно.

Еще раз осмотрел. Глазом намозоленным залез под шубку. Ползал всюду, так что Кате от взгляда сразу стало щекотно, стыдно, нехорошо.

— Пожалуйста, пустите.

Осмотр, как видно, был благоприятен, ибо Иван Терентьич, раньше сердито хрипевший, теперь цедил малиновый сироп.

— А ты не скандалистка? То-то. У нас ведь живо—за косы и на мороз, да так, что после три года будешь плешь отращивать. Скандалить не полагается. Человек создан по божьему подобью, вот что, не скот какой-нибудь (при этом Иван Терентьевич сапогом подкинул забредшую виновницу местных ароматов кошку „Титьку", так ловко, что Титька, пролетая спиралью, запищала, как маслянная сковорода). Что же, если будешь соблюдать порядок—можно. Ты особа не без приятностей. О прочем я с тобой отдельно потолкую. Открою, так сказать, устав.

Катя вошла. Неловко села на какой-то гвоздастый ящик. Иван Терентьевич, деньги спросив вперед, принес чашку самогонки, голубизной похожей на осеннее небо. Уставившись на новенькую, „тараканщики" хихикали. Но Катя не замечала. Перед ней было одно живое—дверь, рыжая, хитрая, поросшая войлочной бородой, способная сейчас раскрыться—дать радость, весенний холодок, стальные, тяжелые глаза, или обмануть, впустить других, вот этого молодчика с серьгой в одном ухе и с мордой столь припухшей, что вся

Digitized by Google

она—один всесильный нос. Открывалась дверь не сразу, капризничала, жалостно скрипела, и по скрипу Катя всякий раз пыталась угадать: кто?..

С того вечера ждала его. Искала всюду. По-детски. На улице. Увидев сзади куртку, кидалась вслед, догоняла и удивленно на нее взирало: чье-нибудь усатое лицо. Один даже милицией грозил. Разыскала губпродком. Караулила и в десять и в четыре. Наконец, осмелилась: спросила у какой-то пиголицы—не знает ли товарища Захарова, Владимир. Пиголица пиликнула: не знаю. Злая пиголица! А его все не было. Был он очень, очень нужен! Все остальное как-то истончилось, зачахло, стало похожим на заспанный сон: если рукой пощупать—текучий воздух. Все эти дни не вспоминала даже о „пятерке", о том, что скоро кого-то убьет. И не молилась. А раз, взглянув на лик в углу, пронзительный и дикий, вместо молитв, шепнула—„Владимир": глазами сбрила бороду, вместе с бородой исчезла благость. Грозил, судил и—судя—томился, ждал ласки, ну, самого простого утешения. Перст, поднятый к небу, хрустел и леденел. Был похож до потрясения. И на того—другого, летавшего высоко, где гул воды и грохот лавин, обиженного злой грузинкой. Какой-то монастырь!.. Впервые Катя с отвращением подумала о чистоте, о белой стенке, о душе крахмальной и неуязвимой: таких бы вниз!

Когда позавчера зашел Высоков, сразу вспомнила: ведь я в „пятерке". Чуть удивилась: это не входило в мир последних дней, наполненных до края гудом крыл, дрожанием ресниц, сверканием серых глаз, то серосиневатых, как клинки, то серожелтых, серных, цвета грозовых туч. Впрочем не отстранилась. Дело спаялось с ним: он такой же—поймет. Убийство перестало быть своим, раздельным, родившимся от топота поклонов в углу под Спасом—общее теперь, почти любовная тайна: он и она. Жалела об одном—о времени: так скоро. Не успеет погладить длинной, закинутой бог весть куда руки, руки—весла, руки—прорыва в оттепель и в ночь. Утешить не успеет. Помочь. А в ней такая жалость. (Может, не только жалость, но другое слово суеверно обходила, так и о злой грузинке думала: почему не пожалела? Иногда, стыдясь себя, уже полуспящая, в подушку: почему не поцеловала?) Нет, надо его скорей найти!

Digitized by Google

И Катя, наконец, решилась отправиться в ужасный кабак, где встретились тогда. Что там—не знала. В тот вечер, глядя на грозно-серые и на весло, не заметила ни Леща, ни Игнато-Белорыбовской идиллии. Только прорывались клочья шумов: ругань, слезы, смех. „Тараканий Брод" ей вспоминался страшным и прекрасным адом. Не то сошел туда, тоскуя о человеческом, простом, суровый, подымавший перст в углу, не то оттуда вышел отверженный (ночь и лавины), влача по грязным скользким половицам свое поломанное крыло.

Да, ад. Вошла со страхом и билась, стиснутая глазищами Ивана Терентьича, как птенчик в кулаке. Но, глядя на живую, изворотливую дверь, страх забывала. Придет! Придет ли?

А „тараканщики", вдоволь наглядевшись, всласть насмеявшись, решили приступить к знакомству. Чир особенно. Хотел себя вознаградить за двойную обиду: за Курбова, проделывавшего куры с этой щуплой мамзелькой и за Пелагею, поразившего весь „Брод" избытком и денег и энергии. Теперь Чир всем покажет: новенькая и барышня—не то что, верно с голодухи, девять юбок обменяв на хлеб, последнюю решила попросту задрать, боится—вот с такою он, прыщавый Чир, величественно проследует в верхний „номер". А Курбову при встрече скажет: „так и так, вы разные дискуссии, а мы с ней по семейному". Так мечтая, Чир скинул с колен оскорбленную Свеклокушу, после излияний Высокова вправду возомнившую, что она, несмотря на широчайший зад, духовная особа, и, небрежно сплюнув, подсел к Кате.

— Что, мамзель, уединились? Позвольте поухаживать—зовут меня товарищ Чир. В некотором отношении почти что местный совнарком. Оно, конечно, с непривычки здесь неароматно. Но позвольте угостить вас заграничным коньячком.

Катя злобно отстранилась. Ощерилась, как маленький зверек. С дверью все же не могла расстаться.

— Оставьте меня. Я жду знакомого.

— Как же, нам все известно. Мой товарищ. В прошлый раз, ведь, вместе пили. Разве не помните? Только он митинговый человек. А язык—мягкий, языком дела не наладишь.

Digitized by Google

Я без всяких резолюций, исключительно озабочен наслаждениями дамы...

И с этими любезными словами Чир Катю решительно сгреб. Вырвалась. Кричала. Чир ругался, а Свеклокуша, почуяв, что теперь и она может выступить, стала выкладывать свою ревность и обиду:

— Да как ты смеешь, тварь постная? Кости бренчат, а тоже задается... Барышня, и между прочим, на людях ненапудренная ходит—рожа, как самовар. На наших кавалеров пялит свои телячьи... Вон отсюда!

Все сильнее распаляясь, Свеклокуша также предпочитавшая дела дискуссиям, в зените гнева, ловко рукою в'елась в волосы Кати. Чашка взвизгнула. Катя закачалась, проступили слезы, минута—и упала бы под мощным прибоем Фемиды—Свеклокуши. Но пришло спасенье: подплыл корабль—Иван Терентьич. Свеклокушу коленкой в зад, подмигнул приятельски Чиру:

— Девочку зачем же обижать...

Катя:

— Я уйду. Я подожду у двери.

— Вот как, кавалера ждешь? Ну, на улице не очень то удобно. Замерзнешь. Да еще пристанет кто. Разденет. Ты лучше наверх пойди. Там комнатки такие—тихо, народу нет. А как придет твой хахальчик—жена нас позовет. Я то с тобой пойду. Такой у нас порядок. Каждый разок. Вроде как в трудовую книжку записываю: отработано. Да ты не сомневайся—я человек семейный, тихий. Жену спроси, или дочек.

Глаза Ивана Терентьевича от избытка семейных воспоминаний увлажнились. А потная ерзкая ручища уже пробиралась под Катину шубенку. Поднял. Катя упиралась. Подталкивал ее, огромный, как упрямого ребенка, за тоненькую шейку. Уж возле лестницы, извернувшись, Катя вынырнула из мокрых рук, ринулась к знакомой, почти любимой двери. И дверь в ответ, сочувственно, застонав, распахнулась. Курбов! Катя,—волосы стекают вниз, платье на груди растегнуто, слезы—к нему:

— Владимир

Может, если б встретила его час тому назад, было бы другое: беседа, спор, медленные усилия, за шагом шажок на

Digitized by Google

льду, вырубая ступеньку, чтобы подняться выше. Но сейчас не до того. Мысли разметались, как купа этих волос. Только нежность, неслыханная, страшная, которая способна взять язык с синтаксисом и с Далем, взять и сделать из него какой-то детский лепет, пенье дикаря, одни слога, обломки фраз, почти что придыханья, но полные значимости: вот в этом бездумном звуке—года. Здесь было все: и как искала, и как колючий на Никитской, обомлев, чуть-чуть портфель не выронил—„куртка вроде вашей" (счастливая улыбка: нашла, теперь то наверняка), и как похож—в углу, без бороды, и после какой он бедный—надо пожалеть, и странные прозвища „Заяц", вовсе невнятное „Левун", и теплота слезы, скатившейся на руку Курбова, и снова извержения слов грозных в ласковости, и, наконец, последнее, преодолев все суеверие несказанное, но только вычерченное детскими еще губами, кинутое внутрь и все-же понятное, горькое „люблю".

Курбов пришел уверенный, сухой и деловой, почти как в кабинет чинить допрос, и только. Сначала он хотел понять—что же случилось—слезы, ужас—не смог. Слова обволокли, как будто опустилось облако, все стало невесомым, белесым, пустым. Потом—(и это было, пожалуй, страшней всего)—сквозь белесоватость четко проступила почти что напечатанная фраза: „я снова схожу с ума, мне уже не хочется разбираться в ее словах, только бы слушать". И снова пусто. О Христе ничего не понял. Колючий с Никитской показался страшным сном. Зато „Левуна" признал, как нечто свое, давно знакомое. „Левун"—теплый и пушистый. Вроде щеки. В это время руку обожгла увесистая крупная слеза. Одна, но продолбила. Даже вскрикнул. Во рту закопошилось: какие-то слова хотели выйти, но не могли никак пролезть в сузившееся горло. Наконец, выдохнул. А может быть, и не те, совсем другие—помельче, порасторопней.

— Я тоже ждал вас. Очень ждал.

Это было правдой. Сейчас не помнил: зачем пришел. Заговор? Да это было, но давно: некогда, до рабочих, топотавших в переулке, до сибирского детеныша, до мамы приносившей к сундуку запах мыла и домашних слез, до всего—в угрюмом, преджизненном, ледниковом сне, под синей папкой, на Лубянке. Пришел—увидеть. Уйти с ней. Пришел...

Digitized by Google

и снова слово затопорщилось. Его необходимо было вытолкать наружу. Все время, ведь, молчал. Слово голое, пустынное вслух:

— Пришел, чтобы погибнуть.

Здесь началось невнятное. Здесь Катя вся прояснилась последним светом, как будто было сказано: „чтоб жить". Опознала свое, почти уютное, почти микстурное, и, немного поборовшись, ответила ему так, как никогда бы не сказала, даже не подумала бы, если-б он, счастливый, смеялся, говорил, как счастлив с нею, если-б он лежал в ногах или, торжествуя, вел ее под руку, никогда, только сейчас, и сразу после томного „погибнуть" в догонку ринулось высокое „люблю".

Курбов это понял. Не переспросил. Не смутился. Знал— иначе нельзя. Согнувшись низко, не глазами, губами нашел ее маленькую ручку, затерявшуюся в мехе и, к ней прижался, как к граниту. Долго дышал смолью, солнцем, донесенным сюда по хлюпающему снегу—от детства ли, от дачи, из которой зной высасывал сосновый дух, или—дальше—от случайно затесавшейся прабабки, от цыганки в кибитке, прожженной насквозь, так что даже гортанные призывы напоминали скрип сухого дерева? Дышал и ничего не ждал. Длительная пауза.

Даже „тараканщики" примолкли, так молчат, когда кто-нибудь рядом кончается, или просто молится стеклянноглазому, чужому, но все же Богу. Было в этой общей тишине большое напряжение двух людей, готовых сейчас же на месте выстроить из спичечных коробок гигантские шагающие пирамиды, или вместо строек изойти, паром вылететь на улицу, в прореху разбитого окна. Тишина начинена была тысячами шумов: от героических: выйти на Трубу и, кинув это сердце, взорвать миры, до атомов, до счета дыхания умирающего, до журчания слезы, до хода наростания и отмирания травяной, незрячей просто—жизни.

Только Иван Терентьич в'едался в торжественную тишину своим юлением. Мигом забыв о прежних планах, страсти остудив, смиренно дожидался: потребуется „номерок"—без этого не обойдется, надо только в подходящую минуту оказаться под рукой.

Digitized by Google

Паузу ликвидировала Катя. Почувствовав, что значил этот поцелуй, это молчание, широко, до холода в кончиках пальцев, распахнулась, как давеча дверь. Открыто, совсем, без утайки, без одного чего-либо скрытого, в уголочке, чтобы после можно было опомниться, утешиться, отсчитаться перед самой собой. Нет—настежь. И что ему дать? Главное ведь вышло, выдышанное ходит вместе с дымом под причудливыми трещинами потолка, и выше, под желтыми поспешными оттепельными облаками. Дала это „люблю", эту руку, эту тишину, что же дальше? Может, если бы женщиной была: мудро, легко и просто, со всей великой чистотой повела бы Николая за руку наверх в мерзкий „номерок", перед этими Лещами, которые и усмехнуться бы не посмели,— такова любовь. Но Катя могла припасть и покориться, вести же не умела. Тогда встало: дать ему, даже не дать, почти по-детски—подарить стеклянный шарик на мамином комоде с метелью в воде,—весь тот особый мир, страшный, прекрасный, призрачный, сейчас такой далекий и игрушечный, где гремел Наум и угрюмый Высоков говорил с уютцем о смерти, мир кем-то названный „пятеркой", Катин прежде—подарить ему. Милый, бери—иди со мной, вместе розы головешек у ног, костер Жанны-д'Арк и лик, обрадованный этим подарком двух жизней, того, второго, двойника—в углу. Катя заговорила.

Сначала Курбов воспринимал ее слова, как тот же сон, как нежное продление „Левунов" и прочего. Стеклянный шарик в детской ручке весело дрожал, хлопья порхали, была метель, и где-то обростали святочным снегом Диккенсовские фонари. Но шар рос. Снежинки, слипшись, уже душили желтые, воспаленные глаза Кремлевских окон. Курбов почувствовал: запахло бурей. Но, нежась еще, знакомый запах обрядил в легенду: дитя.

— Мы должны убить крупного чекиста Аша или Курбова.

Здесь Курбов не выдержал—ласково усмехнулся. В детскую случайно заглянул: играют в индейцев. И с особой мягкостью, почти неловкостью взрослого, который хочет войти в такую игру, путается и робеет, спросил:

— А кто же организует?... „Ястребиный Коготь?"...

— Высоков.

Digitized by Google

И это было концом. Четко вышли отвислые груди Свеклокуши, прыщи Чира, сало Ивана Терентьича, проступающее сквозь две фланелевые рубашки и пиджак, чашки, скамейки, грязь, плевки, на блузке Кати верхняя кнопка отстегнута, сейчас три четверти десятого, пришел по делу—допытать и вот барахтается...

„Высоков!" Уж не снежинки в шаре. Антанта. Деньги. Мерзость. Смерть. Надо пресечь. Скорей, сейчас же. Схватить ее. Пойти за ней. Выследить. Ведь если дать таким ходить, целовать, бесноваться, убивать—всему конец. Это из'яны. Дыры. Черные, гнилые в снегу. Как грибы—только попрачет сверху—вскакивают, бухнут. Газ спертой, гранитом сдавленной земли. Загнать их снова в юродивые топи в соломенную ерунду. Ну, Курбов!...

Катя почувствовала слом и выпад. Почему—не знала и не решалась спросить. Она дала ему волшебный мир, свою „пятерку"—что же еще? Как сгладить эту страдальческую синь под серыми и серными, готовыми истечь огнем? Вспомнила лампадное масло: сухой судил, а навощенный золотил и миловал. Не рассудком, чутьем догадалась:—Милый, все это не то... Не главное, второе, сейчас одно: люблю.

Бедный Курбов! Жестокий зверь, лютый садист всех кумушек—как он ребячлив, как слаб, как молча, тихо гибнет, не вмешивая в хмельной, беспечный вздор „Тараканьего Брода" своей звериной тоски! Что делать? Да, она права! Все это не то. И хуже: огромное, правое, родное—все главки и учеты, тоже не то. „Сейчас одно: люблю". Так в маленькой девченке—вся на ладони—больше силы, больше правды, чем в нем, обдуманном, вымеренном, безупречном. Сейчас одно... Но это „одно"—прекрасное для миллионов, для поэта и для токующего тетерева, для подгнившего за зимы схоластика и для жадной лилии с исступленным пестиком и с вздрагивающими тычинками, для всех прекрасное, лишь для него: позор, отказ, гибель. Он не может. Сам себя построил. Строил год за годом: Колю с микроскопом, Николая на митингах, Курбова в комиссиях. Строил для высокого и длительного горя: дать бешеной, разнузданной, расхлябанной земле—великий строй. И сам теперь запутался в двух-трех словах, зацепился о горячее дыхание, упал. Нет, этого нельзя! И Кате вслух:

Digitized by Google

— Нельзя!...

Но ясно—этим не спасешься. Надо рубить. Если сам не может, ее заставить убежать. Дать ей ненависть, если в нем неистребима нежность. Пусть глупо для дальнейшего, теряет нити, выдает себя—что делать?—Он с из'яном. Пусть жестоко и пахнет мертвечиной, заглоданным младенцем, насильно затравленной любовью еще в пуху, что-ж—ему не выбирать: ведь гибнет.

— Вы должны меня ненавидеть. Я не Захаров. Я тот самый Курбов, которого... Поняли? Теперь идите. Готовьтесь с Высоковым. Я тоже буду готовиться... Кто-нибудь погибнет... Прощайте.

Даже слов не разглядев—только голос, Катя встает. Какая маленькая и еще согнулась! Плечи—вниз. Зуд в голове. Вот и пришла Лиза. Счастье отбирают. Его убить? Господи, за что же?... Надо итти. Гонит. Милый! Чекист. Пытает. Высоков говорил, что он вбивает гвозди в тело. Серые мои, родные! Умираю. Итти. И Катя кидается в дверь, сулившую все, обманувшую, скрипящую: прощай! Чекист! Дверь упирается. Трясутся плечики. Ушла.

А Курбов занят одним—дыханием. Спасен. Может встать и сесть. Может даже выйти. И, не глядя на оскорбленного Ивана Терентьича, напрасно готовившего „номерок", выходит. Подмерзло. Скользит. Но просто—расставить ноги. Он будет жить. Он не погиб. Работать. Двигать дальше этот проклятый воз, с накиданным до неба жалким скарбом испорченных локомотивов, ленивых скаредных, сердец, двигать, проталкивать дальше в гулкие просторные века, где воз очнется изумительным мотором, или, снявшись с земли, гудя, взлетит. Толкать. Подгонять отставших. Утреннее, гнилое и мутящее исчезло. Легкий морозец заштопал дыры, подчистил все.

На Сретенке остановился перед желтеющим стеклом. Когда то магазин. Теперь клуб комсомольцев. Вошел. Полутемь. Какая-то лекция по космографии. На белом экране рождаются стройнейшие фигуры, напоминая: таким и ты родился, таким ты должен,—слышишь,—должен быть! Все остальное нахлынь, произвол, случайные клубы облаков: выдохни немного ветра, прояснись же. Ты Курбов. Ты—как мы.

Экран темнеет, будто зимний день к четырем. Взамен встают другие звезды, пойманные, замкнутые в стекло, при-

Digitized by Google

рученные и вышколенные. В комнате оказываются молодые и задорные. Готовы взять тотчас же звезды с потолка, с экрана, с неба, заставить их стадами биться и звенеть по всем ухабам московских улиц. Курбова узнали. Гордость—к нам пришел! И, как маме кантату к именинам, выстроившись в ряд, смущенно улыбаясь, затягивают „Интернационал". Потом, омытые своими же голосами, летящими подобно косому проливному дождю, забывают смущение, именины, даже Курбова. Идет здесь, в тесном магазине, после скучной лекции какого-то инструктора, с незримыми врагами: с сединой, с залежами книг, с временем—„последний и решительный бой". Время (может, это седенький инструктор, верящий в диплом и презирающий все революции?), покашливая уступает. Ясно: древний Хронос ползает в ногах. Еще одно „это есть наш"—и он издохнет, просыпется трухой. Останутся лишь звезды в кулачках, голос, пролет.

Курбов поет. Для этих Курбов—гордость, вождь. Для себя сейчас: спасен, довольно! Не Николай Курбов, не человек способный любить и уступать любя, нет, среди многих голосов—такой-то голос, слитый, так что не отцедить его от прочих, среди рук—рука.

26.

Как-будто прошли недели. „Пятерка" родилась в морозный вечер, когда братец Наум тайком вздыхал о Даниловой печи. Теперь же совсем тепло. В палисадниках, на мокрой Спиридоновке вязкая земля уже обрызгана чем-то зеленым и ужасно праздничным.

Но Высоков хмур. Ему не до травы. Из Орла плохие вести: должны были поднять крестьян видением Всех Скорбящих. Хамы—умилились и все тут, даже комиссара продкома не потрудились укокошить. Под'емные пятнадцати ребятам, куш псаломщику, сработавшему (впрочем, очень чисто) чудодейственное явление—все зря. Из генштаба ждал нежную записку: состав частей у западных границ—обещал за мелкую услугу друзьям-полякам. Что же,—военспец с'ел франки и надул. Попробовал напомнить—грозится: вызову

Digitized by Google

чеку. Моральное разложение России приняло воистину ужасающие размеры. Царство дьявола. Надо будет, когда в Париж вернется, написать об этом едкую статейку. Пока что—ерунда. Связался с девченкой—дура чрезвычайная! Разыгрывает Юдифь, а время идет. Говорят—чеку распустят. Еще пожалуй декретируют вегетарианство. Миролюбцы! Тогда что делать?... Без крови и мухе скучно. Вся „пятерка" ненадежная. Брюхатый годен на одно: служить панихиды, и то по всякой мрази—по поросячьим камергерам. Усач—невероятно глуп: такой способен, плотно пообедав, пальчики дамские лизать или заниматься геральдикой. Одна надежда на босяка: парень деловой, но плут редчайший, требует вперед, за все надбавки. Сегодня утром явился на свиданье с цельным индюком. Заявил: или вперед на стол сто тысяч „царских", или к чорту—будет целую неделю лопать индюшачие котлеты и плевать на тараканов. Неугодно-ли? Выгнал. А теперь жалеет: без Пелагеи, кажется, не обойтись.

Остальные в сборе. Перемены не только в палисадниках Спиридоновки—в глазах Игнатова. Потерял всю важность владетеля жаровни на Сухаревке, человека, сознающего и днем и ночью свое звание. Вместо этого невиданная томность, Тургеневский, чисто-девический оттенок. Даже тело прояснилось, хотя и не убавилось в весе: поддерживала Белорыбовская колбаса. Просто, проникая каждый вечер в разогретый Эдем, стал приучаться к прозрачности и духовности, свойственной всем ангелоподобным существам. „Пятерочные" разговоры еле доходят до него—в ушах гнездятся: „милый", „я твоя Венера", „скушай еще".

Наум, напротив, общителен до крайности. Весел. Несмотря на сырость сезона, совсем забыл свой ревматизм. Правда, перед заседанием лечился: Высоковская пачка убывала, но не без сладости. Сегодня утром, по случаю, приобрел бутылку „Смирновки"; и честно, скромно распил оную во славу господа, тостов суесловных избегая, но после каждой стопочки провозглашая „аминь". Теперь заигрывает с Высоковым:

— Что, сыночек, покуралесим, а? Бомбочку-конфеточку—и прямо на Лубянку...

Высоков цедит:

— Разумеется.

Digitized by Google

В себя: болван! Взять бы такого и буравом пузо... Всех устранить, чтобы было только: голая земля, беленькие косточки и черный огромный некролог, в миллион строк.

Открывает:

— Итак, господа, к делу. Удалось ли проследить образ жизни Курбова или Аша?

(Ах! Пелагее, может быть, и удалось, но Пелагеи нет—бастует. Зачем утром прогнал? Надо было б индюка приправить соусом из пикантных франков)

Молчание. Высоков злится.

— Но вы же что-то делали. Ходили в какой-то „Тараканий Брод". (Игнатову). Вот вы, насколько мне известно, даже свели знакомство с подозрительной особой?

Игнатов, просыпаясь:

— Что вы! что вы! Исключительно духовное общение. После стольких лет одиночества—среда. Девица прекрасного происхождения: дворянка. Подозрительного ни-ни. Служит в Наркомпросе. Изредка заглядываю: выпить чашку чая и совместно поговорить об отечественной литературе.

Кате:

— Вы?

— Нет.

Потеряв любовь, еще упорствует: нет, не знает, нет, не раскроет, кто сидел тогда с Игнатовым в „Броду" и терпеливо строил домики—высокий, дикий, темный. Найдут другие, прикажут-покорится, подымет эту руку, которой недавно любовалась (теперь: лучше б отрубила), выстрелит в милого, любившего башни из катушек, как будто теплая грудь—устав чеки, звезда, кокарда, номер. Но сама не скажет, смиренная и отчужденная сидит, почти враждебная. Надежда одна: того, другого, Аша. Да, конечно: чекистов надо истреблять, надо мстить за всех. Она убьет чудовище—невиданного Аша, который, верно, свирепый, рыжий, с засученными рукавами, как мясник, убьет нечто с Лубянки. А Курбова?.. А Курбова пусть кто-нибудь другой... (где-то очень глубоко, где кончаются последние лучи, в темнозеленом бутылочном иле барахтается женская томительная полнота—приписка: да, пусть другой и может... может промахнется... для Высокова и прочих: голова болит.

Digitized by Google

Окончательно раздосадованный, Высоков вынимает из кармана две карточки:

— Вот фотографии обоих. Приглядитесь. Может быть, вы и видели их в этом „Тараканьем Броду“? Пелагея мне клялся, что кто-то из двоих туда шляется.

(Зачем прогнал? Жрет индюка мерзавец!)

Сначала смотрит Игнатов. Курбова не узнает. Как будто лицо знакомое. Нет, это только так показалось. В тот вечер, сжигаемый двойным огнем мадьярского бензина и белорыбовского бюста, не видел мира зримого, то-есть низменного. Как бы томился в чистилище, предчувствуя температуру и флору Парадиза. Но что-то запомнилось:

— Глаза, знаете ли, знакомые... Впрочем, это бывает: психологический обман... А красивый мужчина—и зачем такому чека понадобилась?..

Другая... Нет, и этого не знает.

Катя сразу, стараясь не смотреть:

— Нет.

И все же смотрит. На скверной, линючей фотографии, с выгложданными рыжими подпалинами, темнеют глаза. Все темнее, все суровей, приказывают Кате: встань, иди сюда, служи в чеке, будь цифрой, я сложу тебя с миллионами других; плюс, знак равенства, к высшей мере. Так говорят глаза. И Катя почти готова встать, итти, служить, даже пытать: булавину под ноготь—слишком доверчиво и нежно гнется шея, а сзади, где фон провинциальной фотографии (колоннада и ландшафт) чует: хрустит, и жалобно влачится поломанное крыло.

— Нет, я его не знаю!

И, пользуясь сумятицей, быстро прячет карточку под блузку, где чекист непстовый тотчас же принимается за дело: вбивает гвоздики в замученную грудь.

Суматоха от Наума. Увидав фотографию Аша, загрохотал:

— Как же, как же! Каждый день его вижу. Не подозревал, что он палач и грешник, даже содействовал. Хитер злодей! Могу его доставить, куда прикажете.

И Катя:

Digitized by Google

— А я его убью. Вот хорошо!.. (едва не хлопает в ладоши, как девочкой, когда сказали—вместо уроков в театр, на „Спящую Красавицу“).

Но Высоков думает иначе: отнюдь не хорошо. Что Аш? Букашка! Эффект ничтожный, пожалуй, во французских газетах, канальи даже не напечатают. Таких, как Аш—тысячи. То ли дело Курбов. В „Matin“—статья. Номер „Известий“ в черной раме. Поздравленья. И прочее. Нет, надо попытаться через Аша выследить Курбова. Науму директивы:

— Вот что: вы этого суб'екта мирно и по хорошему куданибудь зазовите, ну к себе, что ли. Припасите винца. И расспросите. Только толком. Обо всем. А станет отпираться: дверь на замок, к виску ноганчик. Поняли? Вот вам на расходы и „собачка“. Может быть, я сам загляну.

Наум трясется. Снова ревматизм? Нет, поздно! Сам вызвался. Судьба. Что-ж, примет мученический конец. Сопричислен будет.

27.

Счастливый соперник Андерматова, бывший тапер Иосиф Пескис стоял, как всегда, на Пречистенском бульваре и чрезмерно вытянув гусачью, из'еденную ржавчиной веснушек, шею, выводил тончайшим тенорочком:

„За красу я получила первый приз,—
Все мужчины исполняют мой каприз“.

Лицо его не выражало, впрочем, никакого счастья. А голос был столь печален, что молодые бабы, останавливаясь, тягостно вздыхали, думая: одни о драчливых мужьях, другие о том, что хлеб снова на три тысчи вздорожал: не жизнь—бурчанье. Бабки же, напротив, быстро семенили мимо, суеверно крестясь—пенье походило на нечто нечистое, хотя бы на вой кладбищенского ветра. Немудрено: Иосиф Пескис пел и думал о вещах, скорее мрачных: вчера половина трухлявых брюк решительно ушла, легла в изнеможеньи на пол и Зина, обе половины тщательно исследовав, заявила: починить нельзя, все расползается. Теперь беженцы приколоты двойной булавкой, но ясно норовят, трюк повторив, остаться на булавке. Дальше—хуже—Зина вздумала обзавестись еще одним ребенком. То-есть, вовсе не вздумала, просто так случилось, как и почему, сам Пескис

Digitized by Google

не знает, он не доктор, и не Бог: на всякого мудреца довольно простоты. Расходы экстраординарные, а денег, между прочим, вовсе нет. Прежде были балы и свадьбы: кадрили, вальсы, венгерки. Чистая прибыль за вечер--пять рублей и ужин. Теперь—бульвар. Мороз, дождь, пекло. Иосиф Пескис каждый день регулярно приходит, вытягивает шею и поет, поет все то же „за красу".

Сначала он пытался артистически перевоплощаться: стать гейшей и, подымая с земли кленовый лист, им, как веером, обмахивал веснушки. Но вскоре понял: безнадежно. Пел просто. Давали мелочь. Зина теперь тоже подрабатывала по категории беременных „карточка А." Сынишка ел картошку, супруги же суп на картошке. Все это было хоть печально, но выносимо. Хуже—страх. Иосиф Пескис с младенчества боялся мира. Вселенная, а следовательно, и Москва, и комнатка в Николо-Песковском—походили на девственные леса, полные засад: огромных микробов, бомб, побоев, тюрьм, расстрелов. Когда полоскал рот (воды никогда не пил, а, глотая суп, на картошке утешался: он ведь кипяченый), чувствовал: заболевает холерой. Чесался, бок укусила: сыпняк. Пел: схватят, недозволено. Шел: схватят—зачем? куда? откуда? Каждый человек ему казался чекистом, особенно если он шагал уверенно: ясно—с мандатом! И часто гейша, обрывая свой кокетливый вой, при виде кожаного шлема или меховой ушастой шапки, стройной ланью кидалась по бульвару. Сейчас же Пескис пел и думал: даже убежать нельзя, стоит только расставить шире ноги и половина брюк немедленно отвалится: улика, отыщут, засадят, напечатают в Известиях": „Иосиф Пескис". Ой!

„За красу я получила".

Братец Наум, от ужаса переживая смертельный зуд в желудке, но зная: ничего не поделаешь—назвался груздем и прочее, стойко приблизился к извергу Ашу, то-есть к Иосифу Пескису, и, не дав ему допеть о первом призе, пробасил:

— Сын мой, следуй за мной!

Пескис задрожал, но скрыться не попытался—брюки, предательские брюки! Рысью он помчался рядом с огромной глыбой, шагавшей в Криво-Арбатский. Навстречу им кидалась из палисадников, из двориков весна, в виде клейких

Digitized by Google

веток, глянца луж, собачьих свадеб. Также—люди. Но никто не знал, что этот огромный оголтелый бык и трусящий рядом жалостный теленочек следуют на бойню, замирают оба от предсмертного томленья, прощаются с каждой лужей, с каждой сукой (кому же охота умирать?)

Час спустя, приступая ко второй бутылке, смертники пили на брудершафт. Наум сказал: „Хер“ после „Иосиф Прекрасный“, Пескис: „Эпидемия“, „Певучий Дунай“. Облобызались. Вошел кто-то третий, вовсе не веселый. Посидел с минуту, а после отозвал в переднюю Наума. Нервы, хотя пузатого, но все же деликатного героя не выдержали, и, слушая угрюмое шипынянье Высокова:

— Вы и-ди-от. Тот большой, высокий, а это карлик. Тому лет пятьдесят, если не больше, это мальчишка. И вообще никакого, слышите вы, ни-какого сходства. А деньги пропили?“

Братец не сдержался, заплакал. Весь сразу замок и готов был, моля о снисхожденьи, замочить сухие известковые щеки Высокова, но тот, зловеще лязгнув дверной цепочкой, спасся. Оставалось выложить обиду этому лже-Ашу. Жиденок был кротчайший и в глазах Наума, продолжавших лить щедро влагу, он с каждой рюмкой обрастал кудрявой белой шерсткой, превращаясь в пасхального барашка.

— Ты агнец.

Иосиф Пескис пролепетал:

— Мерси.

— Я перед тобой покаюсь. Заблуждался. Счел тебя за губителя, знаешь за кого? за главного чекиста.

Пескис подпрыгнул, икнул:

— Ой! Где чекист?

— Найдем, всех перебьем. Ты хотя и жид, а славный, можно прямо выразиться, симпатичный жид, должен сам понять — не допустим такого поруганья. Нас, знаешь, сколько? Сто миллионов. И все „пятерки“. Теперь считай: сто миллионов подели на пять.

Ничего не понимая, Пескис чуял: страшный счет, страшные статистики погибших от тифа или расстрелянных чекой, поэтому он считал чрезвычайно долго. Сто на пять вскоре разделил, в нулях же запутался. Наконец:

— Кажется, двадцать миллионов.

Digitized by Google

— Вот-вот! Двадцать миллионов „пятерок“. Каждая „пятерка“ убьет одного чекиста. Понял. Теперь считай - сколько всего мы перебьем?

Нет, Пескис считать больше не мог. Он бегал по комнатке, попытался открыть запертую дверь, у окошка погадал: второй этаж—может, прыгнуть, но изможденный свалился на сундук. Наум, наоборот, развеселился, и быстро совладав со второй, принялся за третью. Глаза саботировали. Исчезли и пух, и сам барашек, и вообще присутствие чего-либо живого. Белое сверкание, а в ушах идущий от сундучка мышиный писк. Послушав и подумав, Наум сообразил

— Мышь, побойся творца всякой твари сущей, пей!

Иосиф Пескис водки никогда не пил, боялся тошноты, менингита и участка. Но сейчас он перешел пределы страха—все равно ведь! и рукой уже загробной он поднес к холодным губам посмертное питье. Кишки, облитые керосином, мигом вспыхнули. Даже губы накалились. В голове произошел полный подлог. Пескиса вынесли и похоронили. Сидел нахал, пил спирт, не боялся ни тифа, ни чекистов и даже поддакивал:

— Ровно двадцать миллионов. Смешно!

От Пескиса этот новорожденный суб'ект сохранил только одну, правда особенно интимную и никому, даже Зине, неизвестную страсть. А именно—бывший-тапер, стоя на Пречистенском бульваре, в перерывах между двумя саморекламами Гейши, любил исследовать различные слова, разлагая их на части и выявляя при этом скрытый мистицизм своей натуры. Так например: „гей“—буйно, „ша“—тихо, гейша—умница, всюду проживет; „чек-ист“,—конечно, если иметь чек, особенно на американский банк, можно всегда откупиться, а если нет чека?... „Бур-жуй“—жевал белый, ручку от калача, пеклеванный с изюмом, жуй бурый, мокрый, жуй—ком (отсюда продком—только там еще: продуться) Так вот развязный собутыльник Наума, выпив ровным счетом три рюмки, приступил к подобным увеселениям. Прежде всего он тявкнул:

— Наум, что тебе пришло на ум?

Братца Наума от этой нечистой игры чуть затошнило:

— На ум пришло, что ты крапленый лягушенок: бородавки сеешь, вот что!

Digitized by Google

Но лягушенок, не смущаясь, приблизился к шкапчику, в оном покопался, под огурцами и носками нашел пухленькую книжицу, вынул, раскрыл.

— „Книга Наума Елкосеянина“. Другие пшеницу, то-есть булки, я бородавки—мясо, а ты что? Елки сеешь? Так и запишем. Елки-палки. „Вянет Васан“. Какой Васан? А вот какой: Всероссийская асбестовая антимония. Ты против? Против сана? На Лубянку! „Так и ты опьянеешь и скроешься“. Куда? Не скрыться никуда. Пьян, эпидемия, как сто микробов! Бунтуешь против Аммона? Против Моно? Стремишься подсунуть народу опиум. Между прочим, здесь предсказана твоя судьба: „пожрет тебя огонь“: расстреляют из пушки—ядром в слепую кишку, „посечет тебя, меч“: будут латыши котлетки делать, „поест тебя, как гусеница“: без соуса и мигом. Наум, Наум! пришло ли тебе на ум и что пришло?

Чем больше квакал и подпрыгивал на корточках этот лягушачий пророк, тем все страшнее становилось Науму. Он отступал, как полк, теряя пядь за пядью. Шея лиловела. Забился в угол. Здесь страшный враг, прикидывавшийся долго пасхальным агнцем и лишь в болотном виде обнаруживший интимность своих отношений с Сатаной, нанес ему последний удар. Высоко подпрыгнув, почти до потолка, и для торжественности, предварительно напялив на редкий пух полосатую каскетку, он выпалил:

— „В страх труса“. „Пятикнижие“. „Навечерие“. „Пятерку“ в Вечека. Предсказано. Ква-ква.

Это была победа. Ни о чем не думая, Наум ринулся к дверям. По лестнице. По Криво-Арбатскому и дальше. По Арбату. Через мост. Ничего не замечал. На вокзале было темно. Но Наум нашел где-то на стенке, под декретами и под „Гудком“, проталину: старое, старорежимное расписанье. Потом прокрался на платформу. Шел, балансируя по рельсам, а дойдя до безжизненного, всеми брошенного паровоза, остановился. Стал упрашивать: Сын мой! Понатужься! Вывези из этой окаянной Ниневии. Я тебе дам третий звонок!

Губами фыркал: бум, бум, бум. Трепал ласково заржавленное брюхо. Но паровоз упирался. Тогда Наум в отчаянии подпрыгнул, проревел:

— Упорствуешь, Аммон? Хочу дальше. Бровары, Бобровицы, Бобрик-брр. Еще дальше. Нежин. Здесь. Круты, Пли-

Digitized by Google

ски. В крутую и в смятку, по копейке за яичко. Любезный понатужься!

На крик пришли. Еле сняли—отбивался и одному красноармейцу прокусил ухо. Братец Наум так пахнул, что всем стало завидно: винный погреб. Поругались, но все-же препроводили в комиссариат.

Это—Наум. Но в комнатке на Криво-Арбатском остался победитель. Иосиф Пескис вторично торжествовал: после красавца Андерматова он одолел и семипудового пророка. Но победы не означают счастья. Дальнейшее тому пример. Оставшись в одиночестве, дерзкий прорицатель сразу лопнул, в точности подтвердив слова Наума о лягушке. Лопнул явственно, воскликнув при процессе: „ой“. Остался прежний Иосиф Пескис, с „гейшей“, с улепетывающими брюками, а главное с неистребимым страхом. Как и что случилось? Он попал в какие-то ужасные „пятерки“. Убьют, двадцать миллионов. Хорошие шутки! Так просто возьмут себе и убьют. А он, Иосиф Пескис, если даже не убьет, все равно замешан, притянут, погиб.

Неизвестно, как он выбрался из дома пыток, как добрел до Театральной Площади. Но утром, часов в девять, милиционер увидел в сквере чудно́го челове́ка: на одной ноге имелись честь-честью брюки, другая же, очень худая и волосатая, разгуливала нагишем. Человел выл дико: „ой-ой!“ Милиционер полюбопытствовал:

— Гражданин. вы что же того, и в беспорточном виде?..

Пескис, забывшись и на минуту приняв Театральную площадь за Пречистенский бульвар, деловито вытянул шею:

— „За красу я получила“...

Но тотчас же оборвал. Вспомнил ночь. Ясно—конец. Ущемив рукав милиционера, стал вопить и биться:

— Я же не виноват! Меня туда затащили! Дали водки. Я непьющий. У меня жена—Зина, сын Абрашенька и будет еще сын—Моня... по карточке беременных... Там такие ужасы! Двадцать миллионов „пятерок“. Убивают всех чекистов. Какой-то пророк Наум, ужасно толстый. Я же не могу, товарищ! Вы поймите—я так боюсь!..

Иосифа Пескиса арестовали. Путь от Театральной до

Digitized by Google

Лубянской был недалеким, но очень трудным путем. Какой-то парень в папахе, продававший зажигалки, шествие увидев, крикнул:

— Ведут!..

И от удовольствия даже неистово чирикнул колесиком машинки. Выпорхнули искры. Баба перекрестилась. Пескис больше не визжал. Услышав „Лубянка“ — сгинул. Шли только ноги: одна обыкновенная, другая же как будто в назидание: нагим пришел, нагим и ухожу.

28.

Вглуби большого дома, среди винтов, спусков, тупиков, вымышленных новым Пиранези, сидят ноги Иосифа Пескиса. Ноги не могут думать. А Пескиса, который слишком много думал, и думая, пытался проникнуть в скрытый смысл различных слов, - такого больше нет. Давно исчез. Ноги смирно сидят. Одной надоедают появившиеся мухи. За стенкой май приносит чириканье, сирень, сюда же из всех весенних выдач доходят только докучливые мухи. Ноги сидят вглуби: в дверь направо, налево, лестницы, еще направо,— камера 17.

В том же доме—третий этаж с парадного, сидят, нет не сидят, а заседают Аш голубоглазый, красавец Андерматов и над клавишами „Ундервуда“ от неизбывной неги размякшая Белорыбова. Аппартаменты внутренние и внешние сообщаются. Два раза ноги Пескиса должны были спуститься и подняться, чтобы предстать пред мрачным Андерматовым. Ноги, как ногам и подобает, ничего не говорили. Но милиционер, арестовавший Пескиса, показал: проходимец лопотал о неких таинственных „пятерках“. Поэтому все касавшееся неопределенных ног попало в чистенькую папку с наклейкой „Заговор в Тараканьем Броду“. Но тщетно Андерматов пытался расшевелить замлевшие, немые ноги, попеременно играя с „собачкой“ браунинга и раскрывая окна на площадь, где в избытке обретались солнце, люди, голуби и прочие соблазны. Ноги, расставленные тупо, в тупых щиблетах, проявляли редкостное равнодушие.

Digitized by Google

Ноги находятся к камере 17. Ноги согласны умереть.

Андерматов же хочет жить. А жить, как следует—ведь это значит мучить. После допросов, когда валяются в ногах, от ужаса икают, целуют полированные тщательно ногти, особенно приятны эти буколические радости: громкое вторжение солнца в комнату, барышня прошедшая по улице, от того же солнца раскачивающаяся, как уточка. Мысль: хорошо бы и ее привлечь. Допросить. Отомстить за гнусное „кукареку". Ах, если бы, наконец, разыскать эту пакость Зинку!... От одной надежды расцветает, как будто солнце, не довольствуясь стекляшками пенснэ, вскочило внутрь и завертелось, где то в самых Андерматовских глубинах.

Прерывает негу слоновий топот курьера, товарища Анфисы. Подает записку. Фамилья: Зинаида Пескис, по какому делу: арестован муж. Стоит ли?... А впрочем бабы все болтливы, во всяком случае разговорчивей этих симулирующих ног. Можно попытаться. К тому же верно молоденькая, он гаркнет, она ручку, пальчик, ноготок оближет. Ну? а потом?.. Словом, пустить!

Андерматов сегодня нежен. Черный демонический усик греется на солнце. Глаза закрыл. Открывает, и сразу резкий прыжок к двери. Почти что леопард. В дверях—не сон под Новый год, но видение многих лет—живая, в шляпке, Зина, Зинка, изменница! Она - жена того прохвоста! Но быстро себя осаживает—не сразу, понемногу, ведь это, наконец, награда за усердье, за терпенье, за все.

— Гражданка Пескис? Зинаида?

Но „гражданка" ничего не отвечает: узнала. Понимает—конец. Раз он в чеке—прощай, Иосиф, прощай, сынок Авраша, жизнь, прощай.

— Если не ошибаюсь мы знакомы? Кажется, встречались?

Шляпка от ужаса сползает. Вырываются космы волос. Огромный, бесповоротно выпяченный живот трясется. И наконец—два слова:

— Игнат!... Прости!...

— Дура! Куш! У ног. Забыла? Я не Игнат—я Эльзевир. Владыка. Лижи ботинки!

Зина ложится покорно на пол. Шляпка отваливается. Андерматов, чуть улыбаясь, вынимает из бокового карманчика заветный листок „кукареку".

Digitized by Google

— Это помнишь?

— Эльзевир! Владыка! Простите!

Через минуту:

— Эльзевир, что с ним?

— С ним? С музыкантом поганым? Что захочу, то с ним и будет. А захочу... а захочу... на твоих глазах пристрелю...

Сейчас я вызову его. И вместе... Поняла?... Будете кричать „кукареку“...

— Но я ведь... (и в отчаянии хватается за свой живот, распираемый, весь в пламени, дольше невыносимый...)

Дальше ужасный вой. Зина бьется в корчах. За дверью скрип. Входит Аш тишайший. Лицо Андерматова тотчас же принимает глубоко деловое выражение. Выполнял тяжелую, но важную работу. Протягивает Ашу лист:

— Мне удалось добиться...

А Зина все кричит и бьется. Коленки подпрыгивают, как безголовые курицы. Уже нет лица—только эти исступленные колени, еще живот и крик. Но Аш не смотрит. Снятое молочко невинных глазок льется мимо, мимо Андерматова, мимо весны, куда-то в угол. Вероятно, там какая-нибудь дивная идея. Он кроток, очень кроток, кротче обычного. Отвечает Андерматову:

— Хорошо. Я вас только попрошу на минутку в мой кабинет.

Вошли. Аш рассеян. Аш что-то ищет. Вылезают ножницы, и Андерматов, не сдержавшись, улыбается: вот-вот сейчас „чик-чирикнет“ и Зине конец. Нет, Аш искал не ножницы.

— Я слышал все.

Глазки все те же: колыбель, лазурь и тишина. Но Андерматов готов упасть под стол, как Зина, ползать, целовать ноготь, на все готов.

— Я... я:..

— Да—вы.

От готовящегося взрыва слез, особенно катастрофического, ибо никогда в жизни не плакал, пенснэ взлетает. В голове проскакивает „кукареку“. Безумно жаль себя: уволят, еще пожалуй разоблачат, еще... Но даже пожалеть нельзя,—поздно. Аш наставил револьвер, Аш стреляет. Впервые – раньше не приходилось, вот только жене грозил дуэльным пистолетом. И крик.

Digitized by Google

Нет Андерматова. „Кукареку“ и жалость и прочие дрянные мыслишки разлетелись, перепачкав розовые обои кабинета. Аш спокоен. Он не мог иначе – так хотела идея, суровая и нежная, стоявшая в углу на дозоре. Вытирает аккуратно—забрызганный чем-то скверным и липким очередной доклад.

А Зина все кричит. Над ней Анфиса. Аш понимает, если так кричат—нельзя работать. Встревоженный, спрашивает Анфису:

— Товарищ, как вы полагаете—она долго еще будет кричать?

— А кто ее знает... ведь рожает баба... напужали...

Это очень странно, сложно и нет на помощь какой-либо соответствующей идеи. Конечно, женщины рожают. Это так. Но, кажется, в больницах. Причем же тут чека? Не понимая в чем дело, Аш хочет действовать—хуже всего бездействие. Он даже суетится. Зину несут через площадку: в комнате двенадцатой—кровать.

Врач:

— Роды преждевременные, вряд ли удастся спасти.

Аш весь вечер сидит в корридорчике на табурете и слушает угрюмый, звериный вой.

Часам к двенадцати вопли понемногу расходятся, последний исчезает. Аш дремлет, видит он во сне нечто очень нежное: большая, монументальная мать, конечно пролетарка, держит младенца. Венок из красных гвоздик. Просыпается от хныканья Анфисы. Уже светает.

— Родила?

— Кончилась. Да разве можно? Напужали...

На столе копошится нечто живое, красноватое, пискливое, как мыши ночью в кабинете. Аш очень осторожно мизинцем касается головки. От ужаса отдергивает руку: мягкое, вроде хлеба. Успокаивают – будет твердым, крепким. И долго Аш стоит над этим невиданным комочком. Две пары глаз, до крайности похожих друг на друга, встречаются. Аш согласен опоздать на заседанье. Аш страшно умилен. Аш, оглядываясь, чтобы не услыхали (все же неловко, он—ответственный работник, заведующий отделом)—шепчет:

Digitized by Google

— Миленький!.. совсем сынишка...
Анфисе же с гордостью:
— Новый гражданин Ресефесер.

29

Когда причудница—судьба, взяв доску, двух постояльцев стерла губкой, а третьего вписала, Курбова не было в строении Пиранези: пропадал на важных заседаниях, таская тоску по зелени столов, где затейливые параграфы резолюций и кусты окурков образовывают цветники.

Утром пришел, прошел к себе, сел. Испытывал легкое головокружение, отмирание рук—щипцов и скреп. Это было привкусом, оставшимся после свидания с Катей. Явно ослабел, стал как будто близоруким, то-есть с каждым часом погружался в хлябь деталей. Интересовался уже не просто человеком, а придаточными—нос какой, как зажигает папироску, забавно скашивая глаз, как, покряхтывая, говорит, „музыку люблю", и прочим. Мир распылился, разложился: сделался огромной и никчемной лабораторией. Люди, а за людьми понятья теряли контуры, раскладывались на две, на шестнадцать, на сотни частиц. Ночью Курбову казалось: вселенная загромождена циклопической пылью, грандиозной ерундой. Под этим задыхался, тщетно ища какой-нибудь знакомой цельной формы. Вместо стройных кубов, пирамид, трапеций сновали холерные запятые, величиною в дом. Впервые многое заметил: залежи чужих, но все же правд, слабость, хрупкость, жалостность, всю земную золотушность. Оказывалось, люди идут не прямо, но скачками, вправо влево, назад, плутают, залезают как тараканы в щели; годами барахтаются на спине, подрыгивая лапками; все вместе это называлось жизнью. Неужели он прежде жизни не замечал?

Сам чувствовал: тончает и мельчает. Вместо каменной громады—облако. А все от точки зрения, от деталей, от невозможности увидеть гору (справа, возле камня репейник). Болезнь, подобная склерозу, его одолевала: сложность. Теперь всякое петитное соображение вертелось, показывая

Digitized by Google

себя кокетливо со всех сторон: обожди, подумай, может быть, не так, сегодня – правда, завтра вздор, для тебя—добро, а для Ивана – пакость и дальше, дальше распространяясь до тома философии, до полного предельного бездействия.

Курбов старался это все преодолеть. Язвил себя: вот—вот!—хорош!—влюбился и раскис... Работал. Делал все, как прежде. Чужие ничего не замечали, кроме, разве, чрезмерной бледности, да иногда среди заседаний отчужденности (заседал только пиджак, а человек далеко был); последнее приписывали, впрочем, важным государственным заботам. Извне—все в порядке. Болезнь загонялась внутрь, и там внутри впервые вместо фигур валандались различные сомнения, похожие на рубенсовские гнусные туши.

Так и в это утро. Даже не мысли,—какая-то тяжелая, неотцеженная муть. Еще не принимался за работу, когда вошел товарищ Аш. Был он после бессонной ночи, вчерашних тягостных хлопот, и душевного сближения с новым гражданином Ресефесер еще голубоглазей, еще бесплотней, и, пожалуй, еще чудней. Сразу озадачил:

— Товарищ Курбов, вы должны меня арестовать. Я совершил преступление перед партией.

— Вы?

— Да. Вчера, около 7 часов вечера, я убил нашего сотрудника и члена Р. К. П. Андерматова. Поступить иначе я не мог.

Аш рассказал, как он работал, как раздались крики, не дававшие возможности работу продолжать. Пошел осведомиться. У двери услышал, остолбенел: Андерматов сводил свои личные счеты с какой-то женщиной, издевался над ней, над гражданкой, над женщиной, над матерью. Аш понял: устранить.

— Он осквернял достоинство партии. Это чистка...

(Так вот как звали дивную идею, стоявшую вчера в углу и кончившую Андерматовские дни: „чистка партии“).

— Я знаю, что я поступил неправильно Я должен был его арестовать. Заявить вам, в цека... Я проявил непозволительное самоуправство. Вы должны меня арестовать. Я сдам дела. Но я не мог иначе. Он позорил партию...

Курбов взволнованный встает. Высокий, сильный, прямой, как кол. Да это прежний Курбов! Вот лекарство от

Digitized by Google

всяких сложностей: молочные щенячьи глазки и древнее железное: „не могу иначе“. И Курбов обнимает Аша, прикладывается к личику, похожему на смятый лист бумаги, целует. Выложить тома? Нет, он ожил, как будто вылечился, одно кидает, захватанное, замаранное в пыли всех главков, в сале всех Сухаревок и все же самое простое, самое торжественное слово:

— Товарищ!

После работал до трех. Хорошо работал. Разобрал все дело о польских шпионах (Высоков не всегда прогадывал: на этот раз удалось ему изрядно попакостить). Вышел: пора на заседание в Кремль. Возле Театральной площади в глаза вскочил плакат—голубенький, пахший сухо—скошенными васильками и монпансье. Прочел:

„Дети—цветы жизни“.

Как в детской сказке, эти цветы передвигались, продвигались навстречу, выстроенные парами, в одинаковых мешковатых, ужасно уродливых платьицах. Детский Дом... В дугах ножек, в глянце голодном глаз, скачущих вдогонку бабе с пирожками, во всей картинной истонченности, прозрачности был знак: не просто дети — цветы вот этих лет. Цветут наперекор Высоковым, Антанте, незасеянной площади, испорченным локомотивам, наперекор всему. Вгляделся в последнего: бутуз, важно, непреклонно семенящий—не отстать. Ему бы булку. Но он доволен — в руке трепещет самодельный флажок. Не забава взрослых, — игра, а значит, большое и ответственное дело. Подымая навстречу, ветру флажок, мальчик вовсе не улыбается—суровое довольство. И Курбов видит: знакомые глаза, сегодня утром они сияли в чеке, прекрасные глаза. Да Аш – дитя. Он тоже, как надпись на плакате—цветок. А Курбов взрослый. Курбов знает. Нет, не вылечился: снова отовсюду выскакивают гнусные вьюны и пересмешники: вопросительные знаки, скобки, томительные многоточия. Нежной улыбкой проводив флажок, идет печальный, очень, очень одинокий.

Пасть Кремля с зубами часовых. Дальше тихо. Неподходящая, злая резиденция. Конечно, другие любуются: история, архитектура, купола и голуби, словом, идиллия. Курбов

Digitized by Google

чувствует иное. Здесь накопилась вся ханжеская пакость, все лицемерное бестыдство огромной степи с тремя кобылами и девятью царицами, которую звали „Русью“ . . . . .

. . . . . .

Заседание. Увидел всех.

Насмешливый слегка, простой, как шар (не это ли вожделенная фигура?). Слова расходятся спиралями. Точен—аппарат. Конденсированная воля в пиджачной банке, пророк новейшего покроя, сидевший положенное число лет сиднем за книгами (или за кружкой бюргерского пива), а после в две недели ставший мифом, чье имя сводит равно ссума и пекинского кули, и джентлемэна из Лидса, чуть испачканного угольной пылью.

Доморощенный Буонапарте, шахматный игрок и вождь степных орд, вышколенных, выстроенных под знаменем двадцати одного пункта некоей резолюции. Этот—треугольник.

Трапеция—почтенный в кашнэ. Как будто пьет чай в прикуску и брюзжит, а вдруг напишет что-то, и почтеннейшую дочку m-r Эпфеля явно разбирает дрожь.

Молоденький, веселый. Идеальная прямая. Грызун—не попадись (впрочем, это только хороший аппетит, вместе со смехом всем передается). „Enfant terrible“ — говорят обиженные в разных реквизированных и уплотненных, здесь же, очевидно: просто на просто живой, не мощи: человек. (Таким был задуман и Курбов, если-б не вмешалась жизнь).

Всех видел. Нахлынули какое-то семейное любование преданность и теплая, шершавая нежность: здесь свой, отсюда не уйду.

Тяжелое, непоротливое заседание: не миноносец—баржа перегруженная сводками, отчетами, цифрами. Голод. Редеющие города. Деревня, послушная и неприступная, ожидающая еще подачки: коммуны не хотим, а, впрочем, все – большевики. Запад? Запад пока не поддержал. Значит...

Курбов видит героическую, притихшую Россию, ржавь машин, человеческую рвань. Высокое эпическое напряжение: об этих годах уже готовы легенды. Нет даже ропота—шопот только: изнемогли. Октябрьская Россия ослабела, как цынготный, из десен кровь сочится, зубы готовы выпасть. И все же не предает. Даже в этой болезненности—великий миф. Кабацкая земля с мошной (по карману—звяк), с половыми и Сте-

Digitized by Google

шами, с мадамами Жюльет из самого Парижа, с енотовой великодержавностью, вздыхающей над Сомовской маркизой, а между вздохами обмазывающей рожу человека „соусом бордэлез“ — эта земля, „избранная Богом“, обхарканная по сему духовными и светскими персонами—стала просторной, голой, суровой, с коминтерном и с восьмушкой глиняного хлеба. Закрытые лавки, кабаки забитые и забытые, никому ненужные бумажки. Кто забудет эти годы: девятнадцатый, двадцатый?.. Теперь—перелом. Значит...

А Запад? А всемирная?.. И это видит Курбов. Границы. Последний маленький советик. Красноармеец без сапог, зато с звездою: если надо, сейчас же умрет. (Сапоги были, будут, а звезды не каждый год, даже не каждый век падают с неба прямо на шапку). А дальше—дальше огни, бутылки: жизнь. Почти, как прежде. Европа раскачивается в фокс-троте, перелицовывает фраки, пьет поддельные коктайли и целует юркий хвостик некоего таинственного существа: имя—„доллар“, на платье портрет благообразного янки, может дать счастье, может мигом ликвидировать весь мир, на то он доллар. Где-то в берлинском Нордене, в лохмотьях дохлой Вены в бараках Круппом зацелованной Пикардии рабочие вымирают, просто, без мифа, без коминтерна, без звезды—так хочет фрак, так хочет доллар, так хочет фокс-тротская чечетка: вымирайте, только скромно, никаких демонстративных похорон. Еще в сторонке сто социалистов деловито раскалываются, критикуют „пагубную тактику России“ и обещают—когда-нибудь, конечно... но теперь? Теперь нельзя. Да, конечно! Когда-нибудь вот эти вымирающие тихо, если только не окончательно вымрут, встанут, зевнут и примутся, дикий скрип раздираемых, крепких, почти нетленных долларов. Будут и у них громадные Кронштадты, Сена Темза-Шпре, - ничуть не хуже наших Моек и Фонтанок, все придет... Теперь же?.. „Теперь нельзя“. Значит...

Так от докладов, сводок, речей, и от счетов и выкладок родился пухлый младенец, с отменно старческим лицом. Сразу—в люльке рвался к аршину, требовал вина и лихача, хлопал о голенькую грудку, предчувствуя ее взбухание, ввиде солидного бумажника. Был он всем ужасно мерзок. Составляли гороскоп (хотелось верить — нежилец). Окрестили: „Нэпо“ (впрочем, имя было слишком итальянским,

Digitized by Google

следовательно, романтическим, и вундеркинд через месяц войдя в года, „о“ выкинул).

Курбов, присутствуя при этих нерадостных родах, понимал: так надо. Не спорил. Только слышал под окнами глухо кудахтанье тех самых, что ужасно хотели жить. Нет, не свернули шеек... Не успели... Отводят место: до сих пор, не дальше. До сих пор цыплячий рай, а дальше суровая работа. Цыплята же бойкачи, им не очень страшно.

Имя „Нэп“ уже летело к Эйфелевой, и башня, хихикая, тряслась. Кадык гадал: может, бросить Высокова (столько денег ухлопали—все зря), стать полуангличанином и вырвать какую-нибудь жирненькую концессию? А князь Саб-Бабакин писатель и председатель уж волочил к вокзалу свои свисающие щеки—пока в Берлин, все-таки поближе к селянке по-московски, к святой рязанской и калужской. Зачем же ползать по подстилке „Монико“? предвидятся ковры полегче, попушистей. Строчил наспех манифест: „Я, князь Саб-Бабакин, того... слегка заблуждался. Большевики, оказывается, русские—рязанские, калужские“... Дальше ничего не выходило, все равно—кого-нибудь попросит дописать. Главное—не опоздать бы?

И ближе: в уплотненных, реквизированных цыплята, недорезанные, смиренно продышавшие три года в вате мандатов, суетились: скоро даже биржу откроют, вот как!

Курбов это слышал, и было очень, очень тяжело. Да, да, конечно!.. Голосовал. Подписывал. Пока что мы наладим здесь хозяйство. Государственные тресты. Монополия внешней торговли. Цыплят не слишком распускать. А после?—после „всемирная“ и прочее. Если бы он был прежним Курбовым или веселым грызуном—на этом точка. Дальше – работать. Пусть еще труднее, пусть тысячи опасностей не привыкать. Ну, Нэп, уступка, отступление—разве мы не отступали до Волги, до Смоленска, до Орла, чтобы снова побеждать? Но Курбов был уже другим, погибшим, не воля — нудное раздумье. И оглядев зеленый стол, милых, верных до конца людей, папки бумаг, он выудил иное. Цыпленок рос ежесекундно—под перышками обозначилось Власовское брюхо, на желтом клюве—пенснэ Глубокова. Раскрыв свой нежный пасхальный христианский ротик, он проглотил вот этих, и шар, и треугольник, и идеальную прямую, всех, не пода-

Digitized by Google

вился ни папками, ни пищущей машинкой, ни „всемирной„. Брр! Какая пакость!.. И Курбов, подбежав к графину, вплеснул в себя стакан воды. Робко прошмыгнула мысль: может, это чисто физическое, от переутомленья, тогда взять отпуск... Мигом цыкнул: в такое время, когда особенно нужны работники. Нет, никогда! Просто—строго смотреть за собой, зарыться в дело с головой, совсем.

Когда он вышел, было девять вечера. На счастье Кремль, проглоченный темнотой, отсутствовал. Появились укрепляющие звезды. Путь древний—с детских лет. Что Нэп? Что отступление? Что Катя и любовь? Есть безошибочные исчисления. Подняв воротник, шагал: сухо, отчетливо, как стук машинки. Прошел ворота. И вдруг навстречу дико ринулись две звезды. Оказались не на небе, на лице, под грузом бровей. Неистовствовали. Слепили. Это была Катя.

30.

Все произошло совершенно случайно. Но обоим показалось неизбежным. Катя шла к подруге на Ленивку, за книжкой. Встала стеной его спина сухая, замкнули путь углы плеч. Все прежние сомнения ей показались излишеством, глупым и стыдным. Одно—догнать его, быть с ним. Чекист? И пусть! Ведь, можно полюбить совсем чужого, например, магометанина или разбойника. Это у него профессия, то-есть нечто внешнее, (даже не белье—костюм), для женщины неинтересное. Под пиджаком, под рубашкой простая теплая грудь, как у всех. Нет, вовсе не такая—единственная, любимая! И кинулась к нему.

Вначале молчали. Молча постояли, молча пошли, не разбираясь, куда. Оказался сад, хотя замызганный, но все же весенний, обдающий влажной теплотой земляного тела. Скамейка. Без уговору сели. И сразу заговорили, как добрые знакомые, просто, по каждодневному:

— Вот хорошо, что мы встретились... Я шла к подруге. А вы где были?

— В Кремле, на заседаньи.

Digitized by Google

Катя — вторая, спиридоновская, высоковская, та, что в „пятерке", на минуту насторожилась, ощетинилась: конечно... чекист... может, и меня выслеживает... надо быть с ним осторожней... Но было в саду тепло, туманно, и от земли и от Курбова шло густое приторное навожденье: его вдохнув, Катя—вторая, с идеологией, задохнулась. Осталась просто Катя, и эта ласково спросила:

— Что-ж там было?

Курбов стал доверчиво рассказывать, как старому товарищу, какие все они чудесные — шары и треугольники. Рассказывая, увлекся, вскочил и с нежностью, столь неожиданной в этом сухом точеном теле, зашептал:

— Ведь, он больной... измученный... простреленный... а как работает...

И Катя заражалась. Кажется, она уже любила этих колючих, занозливых, чужих людей. В теплом тумане Кремль, Совнарком, Николай, все становилось слитым мифом, огромной рощей прекрасных, сероглазых, распятых, точащих (в рифму) кровь и любовь, древним полувизантийским гнездом, где грохоты воскрылий не демона, но целой стаи демонов. И Катя вслух сказала:

— Они хорошие...

Так был положен мост наспех, без свай и без быков. Был он необходим. Никто не требовал устойчивости, логики, обоснований. Пусть через час провалится. Сейчас можно ступить. Ступить же необходимо: слишком долго ждали, слишком много—целые ушаты тепла и горя вылила на них весна, слишком лепка любовь. Так были перепрыгнуты в одну минуту сомнения, стены, громады, арараты сомнений, нагроможденные в течение недель, если не лет—„пятерка", чека и прочее, чтобы просто очутиться двум влюбленным в залузганном Александровском саду, без чисел, без Христа, совсем обыкновенным. Это было, конечно, чудом, и, конечно же, самым будничным житейском делом. Это напоминало „жизнь".

Вмешались в дело руки. Уже не отскакивали друг от друга, как в „Тараканьем"—касаясь—сливались, сливаясь—сростались. Звуки и цвета услужливо приспособлялись к древней теме. Бой башенных часов, взрыв листвы от налетевшего внезапно ветра и меланхоличный припев папиросника: вот

Digitized by Google

„Ира", „Ира", „Ира"—звучали иволгами и придыханьем волн, то подымаясь до грома с рассеченными тучами—скальдами, изливающими вместо крови звонкий огонь, то сбиваясь на драже какого-нибудь Верди. Вместо махорочной едкой гари кислый запах травы, растертой в руке, и пряных медовых левкоев. Вся скамейка, полуразвалившаяся, без спинки, с огромными щелями, была готова стать лодкой, зазвенеть отсутствовавшей, впрочем, цепью, и уплыть. В лодке двое. И разве могло быть иначе, не так, как во всех лодках мира, когда звенят иволги и кисло пахнет трава? Конечно, не могло. И чья голова первая пригнулась, налитая густой пудовой страстью? Неизвестно. Безразлично. Обе вместе. Так случился поцелуй. Когда-нибудь он должен был случиться. Мостик оказал услугу, оправдал себя. Безо всякой муки, просто, чисто, даря свой застоявшийся жар, они поцеловались. Это было в среду, в десять с четвертью (последнее отметили угодливо кремлевские часы).

Засим—перерыв. Мост захотели укрепить. Искали материала: ощупью, в слепую, ни о чем не помышляя, доверившись всецело тому звериному и мудрому, что вот сейчас, минуя рифы, как самый зоркий лоцман, губы привело к губам.

Снова заговорил Николай. По своим следам назад от Кремля до Лубянки. Когда он шел, случилось что-то очень важное. Но что? Да, дети!.. Значит о них. О дымной сибирской избе, где угостили кислым молоком с плававшими мухами, где было, как в сотнях тысяч изб, и где случилось чудо — палец сосал, сам крохотный так бередил, замучил, запомнился на жизнь. Как они глаза таращат на пуговицу, вот эту... Как тянутся ручонками: достать. Сегодняшний был с красным флагом. Неправда ли, вот так, вот с ними, ради них жить стоит: сидеть на заседаниях, приговаривать к „высшей мере", заслонившись синей папкой, планом будущего века, от этого майского дурманного тепла (иначе не выходит: май хочет, чтобы всех поцеловал, ему же нужно устранять).

— Если сказать правду, кого я люблю, только ребят...

И после обоюдные терзания: он—неужели? а партию? а число? Катя—он так сказал после всего, что было, после того, как губы говорили совсем иное—значит, не меня.

Digitized by Google

Но мост выдержал всю тяжесть недомолвки. Курбов снова заговорил.

— Вы знаете—сейчас мне страшно захотелось...

Нет, не договорил. Стыдливый и суровый, никак не мог договорить. Последнее слово, самое важное и тяжелое, застряло в утробе. Но Катя его опознала: „сына". Ведь, это слово копошилось и в ней. Ах, это отнюдь не литература, не разговоры о „таинстве материнства", даже не мысль - себя продлить: смутная необходимость, темный сосущий голод. Как—лечь, или закрыть глаза. Предельная потребность синей и летучей, столь легкой, что мечется по свету от „пятерки" до восторгов перед гнездом Кремля, вот этой вздорной и задорной—наконец, потяжелеть. Узнать долгое прозябанье, простейшие законы: выносить, родить, откормить. Явилось это сразу, раньше и не думала. Пришло от теплого тумана, от теплоты большого, крепко сколоченного тела—рядом, в лодке, на скамье. И не глядя и не слыша, касаясь лбом его плеча, Катя призналась:

— Да... от тебя...

Лодка плыла. Плечо почувствовало всю сухость и нежность лба. Николай, укачиваемый, знал: подходит. Раньше были: дети. Почти символ. Когда сказал ей о том, что хочет, эти безликие сгустились в одного, в своего, в собственного, в сына. Теперь же сын смешался с нежным грузом на плече, с мятной горечью разжатых губ, с синим буйством, с единственной, с любимой. Да, только от нее! Это совсем не походило на мысль о „цветах жизни", о новом веке, нет, тысячеверстый простор исчез, мир сузился до щели. Трудно дышать, но в этой щели—счастье. Сюда входили долгие ночи с мятой, с сухим чугунным жаром, звериное, ощеренное: только я, только мое, радость—я ей дал, несет мое, и после новое, в чем дико, дивно слиты он—Николай, его глаза, ее глаза сплав, амальгама и в нежном тельце какие-то таинственные припоминания всех ночей: м о й, н а ш. Да, это, счастье.

Дальше показалась жизнь того, другого. Если Курбов не мог, сломался, если не смогут эти, за стеной, в Кремле—он будет, он продолжит. Курбов переживал довольство продления, рост веток. Корни сладко ныли. Лабазник Павлов думает - вот будет сын, Ванюша, дело возьмет, не пропадет

Digitized by Google

все даром (все—то-есть лабаз и дедова конторка). Так же Курбов: продолжит; партия, стройный рой, организация, зеленое и праздничное насаждение, на перекопанной глубоко земле, чудных фигур. И Кате, показывая рукой в ночь, туда, где за двойной цепью зубов—зубов Кремля, зубастых курсантов—еще сидели шар, треугольник, прочие:

— Он будет таким же!..

Здесь мост, не выдержав, заскрипел. Сам Курбов усомнился. Ну, хорошо, весна, любовь, природа, иметь ребенка и так далее. Но почему же от нее, от такой чужой и чуждой, пусть милой, но все-таки враждебной? Чтобы научился кликушествовать, биться под образами? Чтобы вырос еще один эстетический террорист, в стиле Высокова. Ведь, встречал немало женщин, хороших, славных, всячески пригодных—своих, любивших его дело, его жизнь—почему же не от них, от этой — как понять такое? Неужели он — разумный, конструктивный человек—тоже только „вареный и жареный цыпленок"? Где же тогда высокая безошибочность его рассчетов? Уравнение нарушено. Притом одно не заменено другим. Курбов, мирно целовавший какую-то девушку в Александровском саду, не способен занять место члена Р. К. П. Но член—он также давно с пробоиной. Снова в итоге опустошающее столкновение. Не только мост скрипел—скрипел, сжав зубы, Курбов. Тонула лодка. С нею тонул и человек.

В Кате фраза Николая помогла родиться, вернее, подняться от груди к голове, давно барахтавшемуся чувству—ревновала. Это началось, когда он заговорил о заседаньи, но тогда нахлынь нежности осилила. Теперь же было охлажденье, то есть между лбом и плечом щель с внезапным ветром. Обрадовавшись случаю, ревность выпрыгнула, выпустила свои кошачьи когти. Даже теперь об этом думает... Он любит не меня, а это... это... Имя все равно. Что из этого, если вместо соперницы, с лицом и с грудью, нечто большое и сложное, нагроможденье рук, слов и новых этажей — город, мир. Ее ведь, туда не пустят. Ревновала к революции к каким-то числам и фигурам, к партии.

Через пять минут, кормясь наставшей тишиной и потемневшими от всяческих сомнений глазами Николая, ревность обжилась. Как любая ревность, она потребовала у Кати

Digitized by Google

точных данных, деталей, цвета волос, которые можно, хотя бы в мыслях, вырвать, оттенка глаз, чтобы мечтать: подойду и выцарапаю. Катя отвечала: партия (это было все же конкретней чисел). И партия стала женщиной. Катя прежде всего ее язвительно высмеяла: такая смеет тягаться! вульгарная (даже точнее: вульгарное лицо с плаката „Росты"). Потом обида: со мной минута, об'едки, после нее—ведь, к ней ходил на заседание—и то случайно встретились. Наконец, отчаяние: нет, ничего не будет, ни любви, ни сына—он и теперь, когда Катя раскрылась, когда девушка, все переступив, сказала стыдное и страшное, он и теперь о той подумал, он хочет сына от нее. Кате надо уйти к себе домой, на Спиридоновку... И ревность, довольная удачей, добавляла: в „пятерку", ибо ревность хотела мстить.

Все это было молча, про себя. Вслух—ни слова. На мост ни Курбов, ни Катя ступать не решились. Признаться же—провалился—не могли, как перечеркнуть вот этот час (или два? или три?), быть может, самый важный? Оставалось молчать, Курбову ворочать кули своих вопросов—„почему?" „как же?", Кате кормить собою злую советчицу. Так и было. Еще час (или два? или три?)

Встреча кончилась также случайно, как началась. К скамейке прокрался какой-то суб'ект. Остановился. Помялся. Спросил:

— Товарищ, дозвольте узнать, сколько сейчас времени будет?

Катя машинально подумала: ведь, это тот босяк, что приходил с Игнатовым. Как его?... Да, Пелагея! Но сразу о нем забыла. Курбов же вздрогнул. Тонущая лодка оказалась поломанной скамейкой. Взглянув на часы, ответил:

— Тридцать пять минут первого...

Встал, взял Катю за руку:

— Ну, мне пора домой... уж поздно... завтра надо рано вставать..

После всего это было невыносимо обыкновенным. Могло означать все и ничего не означать. Полная неопределенность. Шли по Воздвиженке—Николай провожал Катю. Вот уже и Спиридоновка—ни слова. Встреча, полная чудовищных признаний, пенья иволог и растравы единственного поцелуя, кончалась томительным ничем. Что же дальше? Кто победил:

Digitized by Google

те, первые часы или сказавшаяся напоследок разность?, Неизвестно. Партия между волей и любовью кончилась в ничью. Неужели завтра начинать сначала?.. Все исходы казались правдоподобными. Николай мог бы через неделю—другую жениться на Кате, иметь сына, даже, с годами, многих сыновей. Мог также завтра утром подписать ордер: Екатерину Алексеевну Чувашову—арестовать. Мог еще, пренебрегая партийной дисциплиной, убежать с нею в Австралию. Словом, сотни различных возможностей. Пока—молчали. Шли быстро и остановились сразу у под'езда, дружно откинувшись назад, как паровоз.

Стали прощаться. И всё.

Лубянка. Завтра с утра допросить этих шпионов.

„Пятерка". Шла за книжкой на Ленивку, придется завтра пойти. А вечер? А скамейка? Ну, что ж...

— Прощайте.

Уж дверь толкнув, Катя все же не выдержала. Откинув советчицу, она сказала тихо, ласково:

— Николай, когда мы увидимся снова?...

Он хотел было ответить: зачем?—Так уж мысли шли, правильно, по рельсам. Но ласковость, но широта разлива, почти захлебыванье в слове „Николай" произвели крушенье.

— Когда хотите. Завтра я не могу: весь день заседанья.

Ах, так! Завтра с ней. Советчица быстро показала остренькую мордочку – я здесь.

— Когда же вы свободны?

— Хотите в пятницу?

Если бы сразу предложил: конечно, да. Теперь же знает, завтра он с другой. А в пятницу придет Высоков. (Той, с когтями и с остренькой мордочкой очень хотелось ,чтобы Высоков пришел, хотя сама еще не знала, зачем он).

— В пятницу я занята.

— Ну, тогда в субботу.

Хорошо. В субботу. Где? Курбов предложил: он придет к Кате. Если неудобно, пусть Катя к нему придет. Но недаром она выросла в душной спаленке с запахом камфоры, со смуглыми иконами, не даром годами, билась, причитала бабой: и здесь нашелся чудной, юродствующий изворот:

— Нет. Приходите в „Тараканий".

— Но там, ведь, мерзко...

Digitized by Google

Катя настаивала: обязательно туда. Там встретила его. Простая еще ничем нетронутая радость — первый вечер: встреча, карточная башенка. И тот, второй: сначала оскорбленья „тараканщиков", потом одна минута блаженства: пришел, и обухом по голове—чекист. Там развернулся весь недлинный, но запутанный роман. (Сад и зеленый запах на руке являлись исключеньем). И Катя полюбила гнусную трущобу. Предчувствуя: суббота будет важной, может, самой важной,—хотела там встретиться, только там,

— Что ж. Хорошо. Пусть в „Тараканьем"...

Было попрежнему тепло, туманно. С пустой, стеклянной легчайшей головой, ни о чем не думая, Николай шел к себе. Раздеваясь, впрочем, подумал: завести часы. А остальное?... остальное—завтра.

31.

Катя встретилась с Курбовым в среду. Собрание „пятерки" было назначено на пятницу, в семь вечера. Но не было еще шести, когда в щель двери нырнула голова Высокова. Катя откровенно испугалась. Она всегда его боялась, особенно, когда он усмехался очень невесело: „ну что ж, устраним"... Но после вчерашней встречи с Николаем этот смутный страх оделся мясом, имя получил, приобрел нечто от кудахтанья наседки с выводком, которая чует сужающиеся круги ястреба. Если б заслонить его. Знала—невозможно. Ведь, она сама лишь камешек в высоковской руке, рыжей, волосатой. Разрешалось только плакать.

Порой Катя, вспоминала все свои обиды: его любовь к другой, далекой, сделанной из палочек и цифр, невозможность просто взять за руку, остаться вместе всю жизнь, поехать куда-нибудь, хотя бы в Сокольники, и собирать землянику, а тревога становилась сладкой на вкус. Глаза Высокова, носившие в своей серой свинцовой массе очередной некролог, тогда сулили избавление. О том, что дни идут, что, может быть, сегодня или завтра ей придется убить Курбова—Катя вовсе не думала. Вероятно, подумав и додумав до конца, то-есть до крови на милом выпуклом виске, ска-

Digitized by Google

зала бы: нет, не хочу! Не думая же, знала: невозможно. Это общее: было вчера, будет завтра, расплывчатое и привычное. (Настанет и пойдет. Скажут: „стреляй“ и выстрелит).
Думала же Катя эти дни о весьма конкретном: в субботу увидятся. Возможно, после этого конец, то-есть будут молчать, как позавчера. Молчанье же, еще невыслуженное общим горем, томило: заливало оловом горло, било неистово молотом с плаката в виски. А может—счастье; рука в руке, теплая земля, земляника, лукаво припрятавшаяся среди лапчатых листьев ночи, сын. Веря—так, может быть—и земляника и сын—Катя все же не вырывалась из злобного спиридоновского логова, где, вместо икон, в углу давно стояли дикие, остановившиеся, как часы, глаза Высокова.

В ней как-то необ'яснимо сочетались несосветимые миры: револьвер, хранившийся в сундучке, и годы вместе, „пятерка“ и ребенок. Это об'яснялось тем, что Катя, много думая, не умела вовсе думать. Ее мысли, лишенные пропорций и строя, образовывали какой-то несуразный и вместе с тем строго замкнутый хаос, где инфузории ступали мамонтами, где гиганты тысячами поскрипывали под ногами (песок), где солнце еще сильнее разжигало рой звезд. От мыслей таких срослись веки, спину ломило, наступало одурение.

Из длительного полусна (ноги поджав под себя, в углу), напоминавшего, пожалуй, быт с уютцем засидевшихся смертников, Катю вывел приход Высокова. Все сразу прояснилось. И в Кате запрыгала синеглазая девчонка: просто страшно. Был он на этот раз особенно угрюмым, особенно тяжелые спадали фиолетовые веки, здороваясь особенно рыжая рука схватила Катину и по-щучьи проглотила. Все говорило о пятом акте. Сын опал. „Пятерка“, вылезшая из белесых окон, вступала в права, готовилась поставить точку.

Высоков и вправду был сегодня необычайно уныл. Причины имелись в изобильи. Предприятие с похищением Аша кончилось печальным, но и скандальным фарсом. Ко всему этот болван Наум исчез. Должно быть спьяна икая, между прочим, проболтался. Катя должна сегодня же искать ночевку: духовный кобель общителен, а, когда чекисты пузо чуть пощекочут, все сразу Ашу выложит на стол. Дальше: один из агентов Высокова сообщил, что в чеке сидит какой-то уличный певец по делу о „заговоре в Тараканьем Броду“.

Digitized by Google

Совсем плохо. Еще: из Парижа приехал курьер. Делишки—дрянь. Колеблются. С'ездить бы туда и выплюнуть статейку о грозном разложении благородной эмиграции. Саб-Бабакин, несмотря на телосложение, колышется, как тростинка, а это скверный признак: такое брюхо—барометр. Кадык отвиливает. Граф из посольства и француз (почти-социалист) умоляют Высокова: как можно скорее, несколько эффектных выступлений. По меньшей мере, солидное восстание на окраине и пара террористических актов. Необходимо, чтобы настроение поднять и меняющих стадами вехи (или чеки(немного озадачить: не так спешите, господа!.. Насчет восстания позаботится. Достал такую командировку—не лист бумаги, панцырь—через неделю—в Самарканд. С актами сложнее. Наладил вторую „пятерку"—засыпались ребята. С этой ерунда. Хуже всего, что наша милая Юдифь вызывает сильнейшие опасения. Здесь центральный пункт угрюмости Высокова. Сомнения достаточно обоснованы. Разуверившись в Науме, Высоков решил пойти на мировую с Пелагеей. Ледяное сердце „тараканщика" он согрел десятком золотых. Сегодня утром Пелагея сообщил Высокову нечто потрясающее, почти неправдоподобное: в среду Катя сидела с Курбовым в Александровском саду. Роман. Счастливые влюбленные, как ни в чем не бывало, нежно ворковали. Что же это? Может, Катя—провокатор, сотрудница чеки? Но Высокова не так легко провести: старый воробей, на провокаторов особый нюх, гордится, Бурцеву даст сто очков. Для этого девченка слишком глупа. Значит знакомое явление: бомба под юбкой. Высоков никогда не верил в политические убеждения женщин. Подбирая террористок, усмехался: половая истерия, впрочем, надо использовать. Катя, без сомнения также истеричка. Беда в том, что по описанию Пелагеи, не только она влюблена по уши в этого негодяя, но и он—хорош марксист! (ах, дайте Высокову газету — он разоблачит!)—тоже неравнодушен. Дело пахнет семейной буколикой, отнюдь не актом...

Всё это взвесив, Высоков был крайне зол. Но все же решил без боя позиций не сдавать: потребовать, пригрозить и психологию тоже подпустить. Для этого пришел раньше условленного часа: по душам, наедине.

Начал с дипломатии:

Digitized by Google

— Новости слыхали? В чеке совсем чудовищные вещи. Курбов арестовал свою бывшую любовницу и ее мужа. Пытал ножницами. Шомполом бил. Женщина была в интересном положении. Преждевременные роды. Умерла, несчастная.

Говоря, врывался взглядом. Катя слушала рассеянно, почти что безразлично. Вместо слез отчаяния или дикой защиты Курбова, она лишь обронила ничего незначащее:

— Да?

Высоков раз'ярился:

— Представьте себе. Самолично. А младенца он задушил.

Здесь Катя слегка оживилась. Брови взлетели. Впрочем сдержавшись отгородилась:

— Это неправда. Вы лжете.

Пелагея недаром слопал золотые: подтверждение. Идиотка—влюблена! Через неделю в Самарканд, и ничего не выйдет! Высоков издавал какие-то притушенные яростные звуки: тк, тк. Наконец, привел себя в порядок. Надо попытаться применить все меры.

— Вы знакомы с Курбовым?

Да.

Высоков должен был призвать на помощь присущие ему различные добродетели, как-то: терпение, сдержанность, самоотверженную преданность идее, чтобы не вскочить, не плюнуть, не ударить эту пакостную овечку. Просто „да"! Как будто—„знакомы ли вы с Иван Иванычем"! До чего невинность бывает наглой! Хоть бы смутилась. Здесь бесполезно убеждать. Единственное—выволочь угрозы: клятва „братства", нарушение и прочее. Кровавая расправа.

Высоков, вместе с портсигаром, вынул браунинг, как будто невзначай.

— Екатерина Алексеевна! Вы вошли в „пятерку", ознакомившись с уставом „Братства", и, если память мне не изменяет, сами предложили убить чекиста Курбова...

Катя с минуту помолчала: вот и пришло... Значит—неизбежно.

— Я завтра его увижу. Я сделаю все, что надо. А револьвер спрячьте - вы мне уже дали один.

Высоков, ошеломленный, быстро изрезал комнату острыми шажками. Он считал себя тончайшим психологом, был убежден, что Катю видит насквозь: девченка. Но здесь

Digitized by Google

настало полное непониманье. Провокация? Вряд ли. Испугалась? Но он, ведь, даже не успел потребовать, не то, чтобы пригрозить. Сидит, какая-то будничная, может, сейчас чайник на печку поставить, чорт побери! Глаза Высокова, разбиравшиеся, как в брелочках своих часов, во всех трагедиях истории, готовые разложить детально, расписать все мученическое благородство Каина или Иуды, заблудились в этих васильковых, ситцевых глазенках. Долго он шагал и молча чертыхался: этой сосредоточенной работе помешал бас мармеладный Игнатова:

— Дружище! Как дела?

Фамильярничает балбес! А теперь что скажешь?

— Завтра выступление „пятерки". Вы должны быть на своем посту.

Посоветовавшись с Катей, точно указал:

— В половине восьмого вы зайдете за Екатериной Алексеевной и с ней направитесь в известный вам „Тараканий Брод".

Игнатов не ответил. Он только тяжко закряхтел, как старый диван, на который сразу опустились почтенные пуды. Завтра, ведь,—суббота, Людмила Афанасьевна освобождается в четыре, обещала приготовить блинчики со свежим клубничным вареньем. Да и она сама, становясь с каждым днем все гуще, все слаще, могла легко затмить любое, даже довоенное варенье. Возможно арестуют, спустят в подвал, снимут сапоги и крышка. Ужасно щекотливое положение В особенности теперь, когда белорыбовская температура, наркомпросовский паек и нежная любовь почти что заменили Игнатову жандармское управление на Малой Никитской. Но что же делать? Отказаться невозможно: звание, честь, престолонаследник. Следовательно, одно: кряхтеть.

Ушел Высоков успокоенный, даже веселый. Насвистывал изученный в Берлине, проездом, сладенький бостон, На ночевке, предварительно поиздевавшись тщательно над какой-то вдовой попадьей, преданной идее „братства", но ужасно неуклюжей, сел в шелковом парижском трико писать некролог, первый черновик. Подумав, вывел на бумаге число, значительное для многих, и зажмурился цифры

Digitized by Google

пахли пресно и тяжело, как в мясной, где с белых, облупленных полок каплет дивный аромат:

— „28-го мая пал тиран Николай Курбов“.

32.

Бывший будуар княгини Дудуковой был загроможден ароматом бакалеи. Хоть не пробили стенные еще шести, в нем уже настоялась густая пахучая ночь. Глаз еле различал предметы, нос же, предаваясь пиршеству запахов, мог свободно уверовать, что здесь большая гастрономическая лавка. Блинчики старательная Людмила Афанасьевна обсыпала ванильным порошком, и дух его остался. Также дух клубники, свиного сала, цедры, гари. К этому широчайшая княжеская кровать, спинка коей была украшена лебедем, щекочущим бабищу в теле, подливала запах пота и пудры. На ней, как на прилавке бакалейной и гастрономической торговли былых времен, возлежали две рыбы: белорыбица и сиг, лоснящиеся, белые, обещая закусывающим прокурорам блаженство балычка. Были это Игнатов и Людмила Афанасьевна, пережившие все блинчики, все ласки, и тихо отдыхавшие, вперившие свои остановившиеся мутные глаза в пространство, где пролетали ароматы, порой показывая лик: ваниль простоволосую с стрючками, золото лимонов над синевой Мессины и прочее. Рыбы дружно, в такт, дышали.

Тогда пробило шесть. Каждый удар Игнатову звучал, как бой кремлевских колоколен, встречающих наследника на белом. Себе промолвил: князь Пожарский, встань! Встать было нелегко, еле-еле оторвав от белорыбицы свое мужественное тело, сиг приподнялся. Людмила Афанасьевна, не размышляя о причинах, обхватила его крепко и повалила назад, на широчайшую, так страстно задышав при этом, что Игнатов надолго был лишен возможности слушать голос часов.

— Милый, еще!..

А пробило уже семь. Игнатов стал томиться, вздыхать, пытаться вынырнуть из-под одеяла. (Так некогда, еще в холодных водах плавая, почуяв сеть, барахтался прообраз— сиг.).

Digitized by Google

— Пузанчик, что с тобой?...

— Должен все тебе открыть. Тверд, как древний муж. И ты мужайся. Сегодня совершится. Большевикам скоро каюк. Может быть, я погибну. Утешься сознанием. Будешь фрейлиной при дворе. А я... а я...

И сахарный басок, еще особо услащенный клубничным вареньем и предсмертной нежностью, заколыхался, расплылся, едва-едва докончил:

— А я пришел с тобой проститься. Навеки. Милая, любовь моя, прощай!

Тропическая ночь разрешилась ливнем тяжелых, холодных слез, быстро увлажнивших грудь и живот Игнатова. Он только ежился. Это рыдала Людмила Афанасьевна. Но разум, столь неожиданный в меланхоличной читательнице Гамсуна, взял снова верх.

— Скажи мне толком—в чем дело?

— Сегодня вечером одна из наших, из „пятерки", застрелит чекиста Курбова. Я должен ее сопровождать в „Тараканий Брод".

Людмила Афанасьевна легко вспорхнула. На себя накинув одеяльце, проскользнула в кабинет, где жил заведующий хозяйственной частью. К счастью, он отсутствовал. И, не увидев щедрот соседки, остался верен своей хозяйственной части. Людмила Афанасьевна, схватив телефонную трубку, ее прижала к мокрой щеке, как руку друга. Никто не отвечал. Томилась, наседала всей полнотой своей на аппарат, била палочку и голосом, еще нечистым от застоявшихся слез, гнусавила:

— Станцыя? Станцыя?

Дверь оставалась приоткрытой. Игнатов, изнывавший от жалости и нежности, слушал этот знакомый голос, так часто по ночам звеневший в оранжерейной теплоте подобно пенью птиц экватора. И теперь она произносила металлическое, сухое „станция" с такою томной страстью, что получалось нечто пушкинское—„стансы". И с ней расстаться—какая мука!.. Затихла. Снова:

— Станция? Коммутатор Вечека? Кабинет товарища Курбова?

Здесь не было уже ни пушкинского тембра, ни жалости, ни неги: измена, предательство, смерть. Но даже возмутиться,

Digitized by Google

но даже одной мыслью, одним вздохом проводить обманувшую любовь не мог Игнатов: времени не было. Быстро вскочил. Живот от страха вытанцовывал сложнейшие фигуры. Осторожно прокрался к окошку и раздвинул шторы. Брызнул синий сумеречный свет. Игнатов, как был в одном белье, выпрыгнул, вернее вывалился из окна и, грузно шлепнувшись, разбил седалище. Хотелось хотя бы почесаться—не смел. За ним вдогонку гнался страшный, скуластый и раскосый „Коммутатор". Побежал. Дама, с виду благородная, обиженно нёсшая со Смоленского никого не соблазнившее богемское фамильное стекло, увидев чудище в кальсонах, упала, завижжала, зазвенела. Час спустя, милиционер вытаскивал из гущи ротозеев Игнатова. Он шел, потупив стыдливо взор, усы поджав, и с музейной грацией прикрыв рукой прорехи.

Трагическое бегство Игнатова было выполнено быстро и умело. Белорыбова ничего не слыхала. Правда, она слушала в это время гул, щедро лившийся из трубы и затоплявший ухо.

— Товарищ Курбов? Это я — Белорыбова. Я хотела вас предупредить... Простите это очень спешно. Малосознательный товарищ мне открыл. Они сегодня хотят убить Вас. Да, да —„пятерка". Так что вы не ходите в Тараканий Брод". Товарищ, простите, еще минуту... Помните, я вас просила... Нельзя-ли пристроить его, хотя-бы внештатным. Он очень предан. Но чтобы паек. Хорошо? Я вам очень благодарна...

Успех—спасен, получит место, паек, теперь уже не расстанутся до гроба. И Людмила Афанасьевна мчится назад порадовать скорее любимого пузанчика. Лицо, омытое дождем, сияет. В глазах радуга: радуйся, потопа больше не будет, всё на месте, и еще паек...

В комнате никого. Брюки, скорбно согнувшись, висят на стуле. Ног же нет. Окно раскрыто. Катастрофа. Сбежал. Не поверил. Презрел. Трагически подняв руку, как погребальный факел, к тусклым сосулькам княжеской люстры, Белорыбова взором обходит опустевший парадиз: на туалетном столике рыжая сальная сковорода: милый, блинчики любил!.. Шкап с никому ненужными продуктами: вот возьмет и выкинет все масло, три фунта, на улицу—так скорбь сильна!.. Размытая недавней любовной бурей, кровать; большая впа-

Digitized by Google

дина — здесь он лежал, и ус его задорно, залихватски, кавалерийски подталкивал Людмилу. Все кончено!

Она не плачет. Подняв с полу белый, заштопанный носок — целует. Слез нет, не может быть—ни тропиков, ни ливней. Прошло. Теперь конец. Как во всех романах — последняя страница, эпилог. Могла быть свадьба, усы, густое дремотное дыханье. Выпало вдовство—десятка пик.

33.

Людмила Афанасьевна быстро отложила трубку и не слыхала, как пронесся далекий, легкий вздох Курбова. Да, услыхав взволнованное донесение рьяной покровительницы „малосознательного", Курбов прежде всего страшно, до неприличия, обрадовался. Все эти дни его вязали лиллипуты: узлами двойными, тройными и прочими хитрейшими. В итоге не мог уж шелохнуться. Например, отчего вместо субботы не встретился в четверг: ведь, все равно, на важном, очень важном заседании, где надо было видеть, слышать, говорить — молчал, отсутствовал, несмотря на подпись. Зал мнился глубоким дном. Он - водолаз, с огромным, сложным аппаратом, ныряет, ищет. Впрочем, аппарат испорчен, аппарат уже воспоминание, биография. Кругом вода, мертвенная зелень, тишина и гул. Слова доклада — глухие, темные теченья. Мелькает рыбий глаз. Окаменелость. Ночь. Веревку дернуть: довольно! поднимите! Но никто не поднял, только секретарь, тщетно, в третий раз уже попросивший подписать протокол, учтиво промолвил:

— Вы, кажется, переутомились, товарищ Курбов?

Все это были лиллипутовы узлы. Начинаясь с капли, свалившейся почти случайно, с Катиной слезы, упавшей в „Тараканьем", расширяясь четким потоком, любовь давно уже перестала быть частью, ущербом, даже наводнением. Среди жадной хляби метался мелкой щепой воистину допотопный ковчег. Дело не в Кате, хотя о ней он думал непрестанно, нет, думать не мог—шар, поставленный на шест, пометавшись с минуту, падал—вбирал ее. Образ зыбкий и дикий, вливаясь валом, наполнял Николая давкой, ходынкой

Digitized by Google

красок. Все формы вопреки природе сливались, распластывались, извивались вьюнами. Это грозило то полной изоляцией: ничего не нужно, всё — зыбь и дрема,— тогда сидел часами в кресле и пропускал меж пальцами мысли, слова, отчеты, годы напряжения, как песчинки. То, напротив, — хаотичным и практичным вздором: взять отпуск, уехать с ней на север, где шалаш, белесый свет и кислая морошка (все время хотелось пить), уехать—не вернуться (при этом точное, но слишком хладнокровное, со стороны—„какая подлость"). Но это всё — начальные, простые, первичные узлы. Страшнее другое: начало нового некурбовского зрения, как-будто у него прорезался третий глаз, опрокинувший и опровергший равновесье двух прежних.

Где голый, новый город, асфальтом заливавший топь, изгонявший цвета и цветы, величественная формула для каждодневного скрипа? Вместо него — шалаш с морошкой Стыдно, Курбов! И все же не может—если сейчас, вот здесь по соседству, вместо потного, слюнявого Кремля взойдет тот вожделенный город—Николай в нем не останется, тихонько улизнет далеко в топь и в ночь. Там, ведь, Катя, во всей прекрасной несуразности: просчеты, из'яны, гимназическая чепуха. Что же делать? Строить для других? Не может: на острие циркуля, как на булавке, проколотой бабочкой, бьется Катя. Узел двойной.

Тройной: сам любит это безобразие! Читал, считал и вычислил, а вот теперь доволен, что в припрыжку прибежала девочка и выкладки перемешала. Курбов не отвиливал: опасность в нем. С каждым часом выростало запоздалое пристрастие к ошибке, к неоседланным стихиям—к ветру или к огню, ко всяким отступлениям: заблудиться, стать еретиком, выследить свою особую, чудную правду, такую же шершавую и теплую, как это прозвище „левун", вот нет такого в словаре! Два прежних глаза еще смотрели, и Николай хранил сознание пропорций. Да, эта правда маленькая, не вглубь ростет, а вширь, ею щедро других не оделишь. Но что-же делать, если крохотная рыжая ягодка морошка может затмить сверканье всех шестигранных солнц неслыханного городища? Еретик. Тогда зачем же еще восседает под многоэтажными диаграммами и красным карандашиком отчеркивает на докладе Аша „принять меры"? Как он смеет?

Digitized by Google

И вчера, когда медлительная секретарша принесла на подпись бумагу—разразилась решительная катастрофа. „К высшей мере". Подписывал не раз такие, уверенно и просто—полол огромный огород, выдергивая разные бурьянные фамилии. Но теперь... Ведь, знал—этих за дело: сам допрашивал—польские шпионы. И все же, перо, нырнув в чернильцу, выплыть не смогло, жалко барахталось. Как он может?... Ведь, его же самого, предателя, вздыхающего о какой-то приятельнице Высокова, шкурника, озабоченного морошкой и шалашом (знаем эти „шалаши"—квартирка с обстановочкой), его—такого следует немедленно к „высшей мере".—Нет, не может! Перо осталось мокнуть. Курбов с бумажкой побрел искать спасенья:

— Товарищ Аш, может, вы подпишете? А я... я не могу...

В голубеньких глазенках с минуту потолкалось удивление. Они заботливо прошли по Курбову: есть ли рука, не отвалилась ли от чрезмерной работы? Оказалось—рука на месте. Тогда Аш подписал и не задумался: некогда, перегружен работой. А Курбов, к себе вернувшись, свалился в в кресло: трус! негодяй! Встать не удалось. Узлы оказались затянутыми на славу. Работать? Не может. Бросить дело, партию? сбежать? Тоже нет. Сиди. Так погибают от мушиной личинки, от крохотного микробчика гиганты.

И вот сегодня звонок Людмилы Афанасьевны. Нежданные просверкали ножницы (не Ашевы—другие): узлам конец. Кто-то за него решил. Чужие, враги, может быть, Высоков самолично, определили; „к высшей мере". Правильно. Легко. О Кате вовсе не подумал: зачем? За что? Неужели просто заманивала? Был весь охвачен блаженством подступающего грохота и света, легкого конца.

Радовался лжи. Вот так погибнет, и никто не скажет: отступник. Простреленное тело не откроет этих трактатов о величии морошки. У Белорыбовой не будет лишней липкой книги, чтобы прилипнув стенать: „ах, так любили!.." Попал в ловушку. На посту погиб, как истинный чекист. Даже поддержка прочим: берегитесь, крепитесь!.. Утешаясь столь невзыскательным обманом, привел в порядок срочные бумаги, из кармана вынув одну секретную, вложил ее в конверт, пометил „Т. Ашу", запер. С револьвером немного повозился. Угрюмая игрушка раза три процутешествовала

Digitized by Google

из брючного кармана в ящик стола и назад, наконец, крепко осела между двух папок: так лучше, чтобы соблазна не было...

Впервые, спускаясь по лестнице, он понял тайну этого мифического дома, хватку Пиранези: ступени, переходы, винты и штык. Шел также ровно и бездумно, не продвигаясь к цели, но по инерции проделывая известные движения, сгиб колен и прочее, как шел недавно Иосиф Пескис, как шли другие постояльцы внутреннего решетчатого флигеля. Безразлично—куда, на сколько и зачем.

В дверях столкнулся с Ашем. Светлоглазый на работу спешил. Даже шагая, явно обдумывал проект. Ноги чиркали по камню, подчеркивая трудные места. Наверное, сегодня не обедал: занят, „перегружен". Любовь? факт в полоску? Оставьте! Он видит новую, угрюмую идею: недотрога, как с такою жить?... А все же любит и все же победит: „Роль чека при нэп'е". „Некоторые товарищи напрасно полагают"... Раздосадованная нога перечеркивает всех еретиков, и Николаю стыдно, очень стыдно. Хоть бы прошмыгнуть сторонкой, чтобы не увидел. Ведь, на Курбовских запавших голубоватых щеках выведено: морошка, любовь к индивидуальным проявлениям, вплоть до „пятерок", проще и короче: „подлец". Но Аш поворачивает свою коротенькую домоседливую шею. Заметил:

— А, товарищ Курбов! Вы куда же? В Кремль?

— Нет, в „Тараканий Брод".

— Все с заговором возитесь? Мы так перегружены...

Курбов не хочет больше обманной славы.

— Товарищ Аш, я иду по личным делам. Я, видите ли, самый обыкновенный шкурник...

В синих каплях молока такое младенческое недоумение, что Курбов не может, бежит прочь. Чувствует, как Аш стоит и грустно думает: „принимая во внимание общее нервное переутомление"... Потом стойко идет наверх и со стрекотом разверзает над миром („бритье и стрижка") свои величественные ножницы. И в Курбове—вдруг жалость, незаконная, приблудная: бедный Аш! Да, бедный, ужасно бедный, совсем не винт безукоризненного механизма, а просто чудак, астролог, мечтатель в парике.

Digitized by Google

Задумавшись, свернул, пошел кругом, через Трубную. Здесь определенно праздновали крестины рослого уродца, рожденного в Кремле в тот вечер, когда блестящий шар сиял всей безошибочностью исчислений, а углы треугольника поскрипывали дико, повернутые к заспанному Западу. Наспех, не теряя драгоценнейших часов, темнотой пренебрегая, какие-то шустрые голубчики сколачивали ларь. Подмигнула нагло, забытая, почти из детства выползшая витрина гастрономического магазина. Смущенно остановился, как перед забиякой, высунувшим среди бела дня язык: на-ка! выкусь! Зарей сияла розовая семга, грудились гордо золотые апельсины, окорок, томно нежась, всем предлагал: „целуйте, я так нежен", важничал упраздненный и восстановленный во всех правах академик слезливый, затхлый сыр. Все вместе, хором, включая даже скромную чайную, поджавшую свой хвостик, подпевали: „так-то, это тебе не карточка, не категория!" Глубокову немного балычку. А Власов предпочитает ломтик жирненькой ветчинки.

Курбов сначала витрине показал кулак. Но рыбья морда семги безразлично, царственно взирала в даль. Тогда усмехнулся: тоже морошка, личные дела. Даже обрадовался: не только он, все слабы, все „цыпленки". Однако (жест прежнего Курбова) сплюнул:

— Сволочь, „хочут жить!"...

На Цветном бульваре какой-то разморенный цыпленок в заграничном пиджачке, который моде повинуясь, создавал из небытья бабий зад и груди, в стоптанных, охровых, еще не обновленных младенцем нэпом солдатских сапожищах, вталкивал в пролетку визгливую девицу.

— Варенька, часок на дутых...

Из распираемых карманов, похрустывая, выглядывали непоседливые „лимончики". Варенька зачем-то здесь же на ветру припудривала свой большой, мясистый, от веснушек рыжий нос, столь щедро пудрила, что лихач и тот разок чихнул. Посадка длилась долго. Успело подкатить какое-то существо в лохмотьях и, вцепившись в руку Вареньки, занятой серьезной художественной работой, проголосить:

— Товарищ... барышня... голодающим... яви такую...

Рядом с Курбовым стоял, вероятно, тоже увлеченный ретроспективной живописностью картины, сотрудник эм-чека

Digitized by Google

и древний „тараканщик“ Шмыгин. Сначала, по инерции, он, зажмурившись, хотел сгрести томного мужчину с бабьими придатками. Явно—спекулянт. Нетрудовые элементы. Но быстро вспомнил: нэп, инструкция, теперь того... И в раздражении крикнул голосившим лохмотьям:

—Гражданка, проходите! Не приставайте к публике!..

Лошадь рванулась. Из-под копыт взлетела стая искр. Лохмотья, отвалившись, дальше проволочились. Шмыгин тоже ушел.

Курбов видит: цыплячий рай широк и необ'ятен, в нем дивно сочетались древние тенистые традиции и буйство новой поросли: нос Вареньки, пахнущей отныне не иначе, как цикламенами. Еще раз радуется звонку сухому Людмилы Афанасьевны:

Вот за угол. Третий дом направо. Сейчас конец...

В „Тараканьем Броду“ необычайное оживление. Сегодня утром младенец нэп (а это имя повторяют набожно, елея не жалея: „святой младенец“), гуляя по обнадеженной Москве, и в Девкин заглянул, в кривое окошко густо пахнущего дома, улыбнулся мученику за веру—самому Ивану Терентьичу. Праведных награда ожидает, и мученик расцвел. Верное известье: разрешают рестораны с легким вином. Ныне самые почтенные „тараканщики“ (среди них Чир и Пелагея) обсуждают реорганизацию передней части „Тараканьего (задняя попрежнему пребудет неофициальной—для водочки и девочек). „Артель“ и „Не убий“, отслужив свой век, как прочие романтики и утописты, просятся в отставку. Вместо вегетарианского фасада—ресторанчик с пожарскими котлетами и с удельным. Как окрестить? Лещ, который вечно чванится своею образованностью, предлагает: „Авангард“. Очень красиво, но невнятно, Пелагея предпочитает по нашему, по-русски, чтобы все знали: „Ешь и пей“. Иван Терентьич соглашатель по природе.

— А мы и так и этак, и для фасона и для ума. Маляру дам бутылку—мигом наляпает—это тебе не „пролетарии, соединяйтесь“.

Курбов не слышал этих дискуссий. Сел в угол и, почуствовав страшную внезапную усталость, голову на стол уронил. Так ждал. Рахитичные мысли путались и, только что родившись, умирали—скоро должна притти. Расстре-

Digitized by Google

ляет. У нас снимали сапоги: резонно. А офецерик, под Черниговом, к сапогу прилип. Боялся. В общем, кажется, это легче, чем жить. Катя опоздала. А как же карты?.. Может, построить домик?.. И морошка... Дрянь! Дерет в горле... Пожалуй, стоит пока поспать...

34.

Пока он спал, тупо, без снов, Катя бежала длинным кольцом зеленых, жадных, разыгравшихся бульваров. Она не замечала ни нэпа, ни колбас, ни лихачей. Вокруг одно—любили. Какая-то громадная идиллия, на каждой скамейке теснота дыханья, запрокинутые губы—жестяной, жесткий, порой жестокий поцелуй. Все это было декорацией, не живыми судьбами, но плоским фоном.

Катя шла убить Николая Курбова. В полотняной сумочке, рядом с зацелованной фотографией, которую как-то принес Высоков, холодел чопорно браунинг. И дуло нетерпеливо уже прикладывалось к улыбавшемуся лицу. Шла быстро: на службу, не опоздать бы. Деловой шаг. Старалась думать только о дороге: сейчас киоск, половина Тверского, потом площадь, короткий Страстной... Когда же в голове цепь бульваров прерывалась какой-нибудь грохочущей и грузной мыслью, Катя от испуга останавливалась. Идет убить. Зачем? Остановиться! Выкинуть из сумки злой Высоковский подарок, а карточку еще раз, подойдя к фонарику, чтобы видна была улыбка, поцеловать. За идею? Но идей больше нет. Вероятно, их никогда не было. Приснился трудный сон—слова Наума, Вера Лерс на диване и рыжая прохладная ладонь Высокова. Довольно! Теперь спуститься, и Трубная... Кольцо текло немного, до новой встряски. Он же—тот! Ну да, и желтый, маслом умасленный, и обиженный грузинкой, волочащий по канцеляриям крыло. Нашла его. Любить! Век не отходить! Каждое дыханье, заслонив от ветра рукой, вынашивать, чтобы стало вихрем. Родить сына, сероглазого, большого, неприступного, как он. И Трубную прошла. Теперь в гору. Шаг реже. Назойливей мысли. Захватывает дух. Убить? Нет, никогда! Если нужно, если

Digitized by Google

только скажет, прикажет, хрустким пальцем повернет—пойдет куда угодно. Станет сама чекисткой. Высокова застрелит—вот этим черным, в сумочке. Но только, чтобы он не думал о своей, о краснолицей, с тычинками цифр вместо ресниц, о ненавистной „Партии". Будет думать. Будет сидеть ночами в чеке. Дышать черным шорохом докладов и паром красных чернил. Расстреливать будет. Так партия хочет. Проклятая партия! Значит, снова идеи? Да, да—идеи: Курбова, чекиста—убить. Вот и Девкин... Пришла.

Увидев Николая, Катя все забыла. Сумочки не стало, хотя висела, тяжело вливаясь в левую руку. Он спал. Детское, прелестное лицо, чуть затемненное синим отсветом предсмертья. Милый мальчик! Такому бы под подушку деревянную саблю, плитку шоколада. Убить? Да нет же!.. кто сказал?.. Любить! Утешить!

Осторожно, материнским обходом подошла и окунула руку в теплый мех волос. Курбов взметнулся. Головой покачал, стряхивая обморочный, теплый, тяжелый, как летний ливень, сон. Наконец, сообразил: уже пришла, я спал, как будто, что же... а теперь—конец... Не видел глаз Кати, из сини впавших в густую черноту от любованья и любви. Кратко сказал:

— Наверх. Там удобней.

И на радость Ивану Терентьичу, наконец-то дождавшемуся от притязательного гостя признанья его хваленого „номерка", они прошли по скрипучей лесенке наверх. Молчали. Ни о чем не думали.

В комнате духота, одурь. Кровать, покрытая лоскутным сальным одеялом. Рыжий таз, в которым плавают огрызок огурца и окурки. Николай глаза закрыл, прислонился к стене. Катины, напротив, все ширятся, вбирая его, с колючей партией, всего. Брошенная сумочка обиженно топорщится на подоконнике. Николай ждет. Слышит, кроме одури, мух, Катиного быстрого дыхания: нудный гул. Так растет в раковине уха тишина—кругами. Гибель.

Катя подходит ближе. Вплотную. Дыханье убивает гул—слишком близко. В ответ ему свирепо отвечает сердце Николая. Замедление. И сразу дикий поворот (сумка на подоконнике, некролог написан, Курбов привел дела в порядок, все готово, где-то на Сретенке ходит Высоков, ждет): просто,

Digitized by Google

в сторону, иначе, могло быть быстрым выстрелом, ответным грохотом—оказывается поцелуем, водоворотом, встречным исступлением, тоже концом, но непредвиденным.

Здесь—первая любовь, под мухами, над тазом с огурцом на сальном и лоскутном, в предельной мерзости, здесь, где у дверей довольный Иван Терентьич смакует тишину, здесь—все равно! Великая и мудрая, простая! Этого никто, ведь, не отнимет у неуживчивых, помешанных людей. Мясо, слово, задыханье — одно. Должна была быть смерть. Не вышла, задержалась, пропустила вперед такую же хищную и дикую соперницу. Оба жили: не только имена,—идеи, годы, обношенная теплая одежда. Здесь нагота и пустота. Здесь последнее глухое сопротивление и круженье камня вниз, вниз до обморока, до неподвижности, до ощущения в пальцах ног гудящей долготы времени.

Так, кажется, прошли часы. Пока не началось некоторое робкое от'единение, мельчайшие симптомы раздельной жизни, медленное сгущенье отличных тел. В верхние минуты были только груда, глухое молчание, любовь. Потом возможно стало ощущать блаженную, бессмысленную, почти идиотическую в животной мудрости улыбку Кати и руку Курбова, бессильно свесившуюся вниз, как сломанный и никому не нужный инструмент. Хотя по прежнему присутствовало счастье, но оно уже не принадлежало каждому отдельно, и надо было, подавая губы, чуть скосив глаза и выдыхая рой прозвищ, это счастье ревниво оберегать.

Впрочем, Катя проявляла крайнее спокойствие. Не успев еще подумать, что именно произошло, она уже знала насыщенностью тела, отмиранъем и тяготой—нечто важное. Лежала: наконец-то разрезанная и прочитанная книга. Все двадцать с лишним, демоны и Лермонтовы, Наумы, идеи, жертвенная чесотка, поклоны—только подготовка этого часа, в каморке, над тазом с огурцом. Зачем ей какие-то идеи?.. Предать себя, метаться, слабеть, но уголком одним задернутого глаза все же видеть, как милый от радости чумеет, выгребает из вздорного комочка золотую жизнь. И крепче сжав глаза, плавно погружаясь в гудящую ночь, где только вспышки искр—нежный фейерверк от слишком густой и теплой мглы, Катя начинала видеть по иному. Время исчезало: минута длилась век, минута говорила: будет век,

Digitized by Google

века, века веков, ничто, минута. Мира, то есть цвета, об'ема или веса давно не существовало. Жизнь, как в древнейший период, едва-едва копошилась в ее утробе. Начальное тепло, простейшие растения, прикрепы клеточек, связь, сон. Постепенно это становилось все реальней и реальней. Тепло твердело. Тогда Катя вдруг вспомнила: ведь, будет ребенок... сын! И это было столь диким ликованьем, что губы с всплеском раскинулись в улыбку. При этом они коснулись щеки Курбова. Тогда произошло неизбежное: из'яснение, первое сцепление доселе совершенно несвязных слов. Катя, зная, что надо нечто вычеркнуть, смыть словом уже смытое красным, теплым крапом на этом лоскутном, тихо попросила:

— Дай мне мою сумочку... там на подоконнике...

И, вынув гадкий дар Высокова, его подала Курбову.

— Возьми... Я не буду больше...

Это было очень смешно, с убежденностью до слез, как после шалости девченкой маме. И, правда, разве не детская шалость все эти „пятерки"?—игры („разбойники и солдаты", „когда море волнуется", пр.). Теперь же взрослая: жена, мать. Не будет больше так глупо проказничать. Курбов должен взять.

И Николай взял. Металлический холодок, чужой, невнятный после теплоты и мягкости тела, хотел напомнить о другом. Понимая, что Курбов растерян и, потерян, он прибегал к простейшим понятиям: заговор „пятерка", чека, трубка телефона. Так Курбов вспомнил, что все происшедшее лишь искажение плана: Катя шла его убить. С любопытством взглянул на маленькую ручку, темневшую под щекой. Этот взгляд, сам по себе невинный, скорее всего праздный, Кате показался карой. Дрогнула, взметнулась робко, с собачьей нежностью, пряча провинившуюся руку, губами поискала его (щипцы). Такой минуты как будто достаточно, чтобы сразу отженить, разлучить, сделать радость выдуманной и разоблаченной. Но теперь имелась прививка: сын. И сцена с револьвером кончилась сухим, коротким поцелуем: сургучная печать, конец, молчи, мы вместе. Дальше снова забытье.

Пробуждение настало только для Курбова. Катя, когда, наконец, отхлынуло его большое тело, незаметно погрузилась в любование своей судьбой: будет сын. Кажется, ему

Digitized by Google

успела шепнуть об этом, а, может быть, и нет. Даже Николай стал ей ненужным, являясь частью внешнего, неубедительного мира, тоже огрызком в тазу,—(пускай прекрасным). Вступив впервые в мир иной, утробный, полный ненареченных вещей, она жила жизнью напряженной и в то же время тишайшей, травяной. Жизнь эта просто и неприметно перешла в глубокий сон. Одну руку по детски подложив под щеку, другой прикрыв маленький живот, Катя спала. Комнатушка полнилась нежным дыханьем, казавшимся походкой часов и лет.

Смутные и сметенные мысли Николая постепенно переживали фазы рождения миров. Вначале кипь и зной, тяжелый, полный частиц несуществующих предметов. Дальше части сталкивались, сцеплялись, отвердевали. Явились первые понятия, сушь дней. Курбов уж ясно понимал свершившееся. Вновь на тело, легкое до мыслимости испаренья, нал груз: это наседала биография. Но, несмотря на тяжесть, он страшно радовался: морошка не обманула, оказалась верным счастьем, огромным миром. Улыбнулся. Прекрасный хаос, способный перетасовать всех людей и, выкинув одну крохотную женщину, ею покрыть. раздавить чудовищные материки, этот хаос торжествовал.

Но торжество было недолгим. Сгущение продолжалось. И после биографии, после пафоса одной ночи (не в „Тараканьем", не в Москве, внемирной ночи) появились по-песьи оскаленное завтра, со всеми родственниками, то-есть с „после-завтра", „через месяц" и так далее. Оно даже не хотело дождаться до рассвета. Еще густо плавала непроцеженная мгла и снизу по шаткой лесенке поднимался рев „тараканщиков"—отрыжка многих бутылок, чайников, ковшей. А Курбов уже метался по комнате, затравленный вот этим „завтра". Искал лазейку. Искал наивно, неумело, глупо, как всякий деловой и дельный, обычно слишком сильный и любовью ушибленный мужчина. А именно: минуя спящую рядом Катю, он пытался смастерить об'яснение, оправдание, согласовать вчера и завтра. Понятно, ничего не выходило, Вся правда первой любовной ночи бессильно отступала перед взводом выстроенных доводов. „Как будет завтра жить"? И в комнату с'езжались спешно все сомнения последних месяцев.

Digitized by Google

Подвел итоги—честно, стойко. Быть прежним, работать, думать, выполнять свой ясный план?—не может. Удолговечить эту ночь, сделать из лавы дыханья, из прибоя тел, из забвения нечто твердое, стойкое, многолетний дом?—тоже нет сил. Значит, жениться и мирно существовать?..

Так, извиваясь, шатаясь из угла в угол, жил час—другой. Наконец, остановился у окна. Ночь, накануне сдачи, еще кичилась своим великолепием. Николай врылся глазами в синеву, и здесь произошло простое разрешение. Было ль это только любовью, или строгой последовательностью рока, немыслимыми воспоминаньями, но Курбов, зачатый в такой же час, когда над скрипом Завалишина бушевали светила, Курбов, передавший земным калечным цифрам утаенный свет, делавший любую диаграмму небосводом—взглянув теперь на стаи звезд, в древнем гневе распластавшиеся над „Тараканьим Бродом", труднейшую задачу сразу разрешил. Нет, правда не в такой любви! Синеве и веку: долой моронку!

Правду знал, был с нею дружен, запросто, годами на „ты". Пусть ссоры и размолвки: то ненависть подлизывалась (ведь, с ненавистью много легче), и тогда скользил, падая в лужу оурой нудной крови, то подвертывались под ногу проклятые Андерматовы, то просто ноги, слабые—кость и мясо—гадко ковыляли. Но правда, обижаясь, не покидала.

— Чтили Христа, сказавшего: „Огонь пришел я низвести на эту землю". Мы же низводим на злобную, огнем охваченную, звездный строй, единый план вселенной.

Да, правда—его, Курбовская,—в жадных взглядах, в голосе крутого комсомольца, в голом городе, в черной, пулеметной, ротационной беседе. Это—ясно.

Ясно и другое: он выбыл из строя. Он не может. Перенутанное уравнение. Машина испорчена и настолько, что никак не починить. Итти назад? Шагать на месте? Пробовать работать, косым взглядом, пронырливой мысленкой, юрким вздохом пытаясь улизнуть к ней, к спящей, полной тяжести, тишины и горя, как „мать-земля" всех ветхих песен? Нет! это недостойно...

Черная, холодная, знакомая с давних лет вещица по-собачьи лизнула руку Курбова. Напомнила: дурные травы надо полоть. Правильно, товарищ Курбов! Это было по-

Digitized by Google

следним даром звезд, последней, закономерной и точной точкой в книге: устранить себя.

И, уходя, невольно прислушался, заслушался: легкое дыханье. Катя беспомощная, но взявшая верх все так же спала. Ее лицо являло мудрость и довольство. Мысль—как прабабушка... (кто-то злой, насмешливый подставил: и как правнучка, такую никогда не одолеть—земля).

Внизу еще шумели. Чир и Пелагея, для услады, травили кошку, с помощью двух подбодренных колбасою кобелей. Кошка отчаянно, истошно, по-древнему мяукала. Когда же замолкала кошка, гнусавый, отбитый кашлем и самогонкой голос с педантизмом немецкого философа пояснял ученикам:

— „И ён смутился и застрелился,—

Цыпленки тоже хочут жить".

Николай Курбов, впрочем, уже отсутствовал. Он был в кремлевском зале, где сияет обточенный на славу шар и поскрипывает треугольник, где еще хотят и могут, где огромный зеленый стол скрипит под тяжестью классифицированных, прирученных звезд: прощался, жал наспех сухие, отрывистые руки.

С этим сблизил друг другу полюбившиеся дуло и висок.

Февраль—ноябрь 1922.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY
BERKELEY

Return to desk from which borrowed.
This book is DUE on the last date stamped below.

20Mar'50H J

14Feb'53WL

Ermolaev

MAR 14 1953 EC

APR 16 1953 LU

14Jan'62JT

REC'D LD

JAN 24 1963

AUG 12 2003

MAR 08 2004

LD 21-100m-11,'49(B7146s16)476

Digitized by Google

U. C. BERKELEY LIBRARIES
C045995086

607347

836
E33
2R

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google